

Джон Фанте

Спроси у пыли

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я был молод, голодал, выпивал и пытался стать писателем. Читал я в основном в лос-анджелесской публичной библиотеке. Но ничего из прочитанного никоим образом не соотносилось ни с моей жизнью, ни с жизнью улиц и людей, окружавших меня. Казалось, всех занимали только словесные трюки, и чем человек больше преуспевал в этом, тем лучшим писателем он считался.

Такие тексты были смесью изысканности, ремесла и формы, и это читалось, завлекало, проглатывалось — и забывалось. Удобное изобретение — очень прилизанная и безобидная Словесная Культура. Еще у русских дореволюционных писателей можно было отыскать признаки страсти и авантюризма. Были исключения, но встречались они так редко, что прочтение их не занимало много времени, и я снова оказывался среди бесчисленных рядов нескончаемо унылых книг. Особенно негусто с приятными исключениями было среди современных писателей.

Я открывал книгу за книгой. Им что же — нечего сказать? Никому нечего прокричать?

Пришлось попытать счастье в других разделах библиотеки. Секция «Религия» была сплошным непролазным болотом — для меня. Я устремился в «Философию». Мне попала пара жестких озлобленных немцев, которые воодушевили меня, но и они вскоре иссякли. Я взялся за «Математику» и завяз в ней так же, как и в «Религии». Мне уже стало казаться, что такой литературы, о которой я грезил, просто не существует.

Я принялся за «Геологию». Поначалу это было любопытно, но лишь поначалу.

Я наткнулся на книги по «Хирургии», и они мне приглянулись: в них было много новых слов и великолепные иллюстрации. Особенно мне понравились и больше всего запомнились операции на брыжейке ободочной кишки.

В конце концов я покончил с «Хирургией» и вернулся в большой зал художественной литературы. (Я никогда не посещал библиотеку, если мог купить какого-нибудь дешевого пойла. Это место идеально подходило, когда не было ни выпить, ни закусить и домовладелица гонялась за мной, требуя деньги за просроченную ренту. К тому же в библиотеке можно было бесплатно воспользоваться туалетом. Я видел в залах множество лоботрясов, подобных мне, которые засыпали, не успев раскрыть книгу.)

Продолжая бродить по залу художественной литературы, я снимал книги с полка, прочитывал несколько строк, несколько страниц и ставил на место.

И вот однажды я взял очередную книгу, раскрыл и попробовал почитать. Через несколько мгновений я уже нес ее к столу, словно человек, который среди груды хлама обнаружил золотой самородок. Строки катились за строками легко от страницы к странице, сливаясь в единый поток. Каждое предложение обладало собственной энергией, его сменяло следующее, еще более энергоемкое. Из этих энергий складывалась форма страницы, она была высечена из них. Наконец-то я нашел человека, который не боялся эмоций. Юмор и боль перемежались с поразительной простотой. Начало было таким неистовым, что повергло меня в шок, как неслыханное чудо.

Я записал книгу на свой формуляр и понес домой. У себя в комнате я улегся на кровать и продолжил чтение, но уже задолго до того, как я дошел до конца книги, я знал, что этот человек открыл свой стиль письма, совершенно ясный и отчетливый. Книга называлась «Спроси у пыли», а ее автором был Джон Фанте. Его влияние на мое собственное творчество я буду ощущать всегда. Я закончил «Спроси у пыли» и отправился в библиотеку на поиски других книг Фанте. Я отыскал две: «Даго темнокожий» и «Подожди до весны, Бандини». Они были столь же хороши, написанные нутром и с открытым сердцем.

Да, Фанте произвел на меня колоссальное впечатление. Вскоре после того, как я прочитал его книги, я сошелся с одной женщиной. Она выпивала пуще меня, мы постоянно скандалили, и часто я орал на нее: «Не называй меня падлой, я Бандини, Артуро Бандини!»

Фанте стал моим Богом, и я знал, что Боги должны хранить одиночество, каждый не мог пойти и постучаться в их двери. И все же я пытался угадать, в каком месте на Энжелс-Флайт он жил, я воображал, что, возможно, он и по сей день там обитает. Почти каждый день я прохаживался по этой улице и думал: может быть, в это окно влезала Камилла? А не эта ли дверь его отеля? Тот ли это вестибюль? Но так никогда и не узнал.

И вот теперь, тридцать девять лет спустя, я перечитал «Спроси у пыли» — и впечатление мое не изменилось: книга действует, как и другие работы Фанте; но все же это мое любимое произведение, потому что оно стало первым моим открытием чуда.

В 1979 году, уже при других обстоятельствах, я все-таки встретился с автором. В жизни Джона Фанте было много всего. Это история необыкновенной удачи, страшной судьбы и редкого мужества. Придет день, и она будет рассказана, но я чувствовал, что он не хотел говорить об этом при нашей встрече. Поэтому позвольте мне сказать только одно: его проза, как и его жизнь, есть суть одного и того же — это мужество, искренность и страсть.

Этого достаточно. Теперь эта книга ваша.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как-то ночью я сидел на кровати в своей комнате, которую арендовал в самом центре Лос-Анджелеса на Банкер-Хилл. Для меня это была очень важная ночь, потому что мне предстояло сделать выбор — или я плачу, или выметаюсь. Так сообщалось в записке, которую подсунула мне под дверь хозяйка. Серьезная проблема, заслуживающая пристального внимания. Я разрешил ее так: выключил свет и лег спать.

Проснувшись утром, я дал себе обет заниматься физкультурой и безотлагательно приступил. Я выполнил комплекс упражнений на гибкость и принялся чистить зубы. Почувствовав привкус крови и осмотрев щетину зубной щетки, я припомнил ее хвастливую рекламу. Покончив с гигиеной, я отправился выпить кофе.

Я пришел в кафе, в которое обычно ходил, уселся за длинную стойку и заказал кофе. На вкус напиток очень напоминал кофе, но пяти центов он не

стоил. Я выкурил пару сигарет, просмотрел результаты игр Американской лиги, демонстративно игнорировал игры Национальной лиги и с удовлетворением отметил, что Джо Ди Маджио все еще не уронил честь итальянцев, лидируя в лиге как самый результативный игрок.

Отличный удар у этого Ди Маджио. Я вышел из ресторана и остановился, представляя себя на месте Джо: бросок, удар — и я выбиваю мяч за пределы поля. Затем двинулся вниз по улице по направлению к Энжелс-Флайт, соображая, чем же заняться. Срочных дел не было, и я решил просто погулять по городу. Спустился до Оливковой, прошел мимо грязно-желтого дома, стены которого были еще сырые от ночного тумана, прямо как моя промокашка на столе. Я думал о своих друзьях Изи и Кэрол, которые до отъезда в Детройт жили в этом доме, вспоминал ночь, когда Кэрол ударила Изи, потому что она была беременна и хотела оставить ребенка, а он нет. Малыш родился, но больше у них ничего не было. В памяти всплывали детали и подробности внутреннего быта этого дома: запах мышей и пыли, старухи, млеющие в вестибюле в жаркий полдень, и пожилая женщина с удивительно красивыми ногами. И еще был там лифтер — калека из Милуоки, который презрительно усмехался всякий раз, когда вы называли свой этаж, давая понять, что такой специфический этаж мог выбрать только круглый идиот. Вот такой вот лифтер, всегда рядом с ним в лифте находился поднос с сэндвичами и бульварным журнальчиком.

Затем я пошел вниз по Оливковой мимо ужасных построек, от которых веяло историями об убийствах. Дальше по Оливковой до филармонии, тут я припомнил, как мы с Хелен ходили слушать хор донских казаков и я страшно скучал, и из-за этого у нас произошел скандал. И еще я вспоминал, как была одета Хелен — в белое платье и у меня ныла поясница, когда я касался его. Ох уж эта Хелен! Но и ее уже нет рядом.

Так я дошел до перекрестка Пятой и Оливковой, где скопище рычащих автомобилей насилвало слух, пальмы в облаках выхлопных газов казались такими печальными и черные мостовые все еще не просохли от ночного тумана.

Теперь я был перед зданием отеля «Балтимор» и двигался вдоль цепочки желтых такси. Водители дремали за своими баранками, все, кроме одного, чья машина стояла напротив парадного входа. Я еще раз подивился необычной осведомленности этих таксистов, припомнив как однажды с Россом мы попросили одного из них подыскать нам девочек. Парень хитро

косился на нас и скабречно хихикал всю дорогу, пока вез на Тэмпел-стрит. Похоже, он знал все значные места в городе и быстро нашел нам парочку шлюх, правда, очень непривлекательных, но Росс все равно согласился, а я не смог. Я остался в гостиной и ждал, пока Росс управится. В гостиной играл патефон, я был напуган и одинок.

Вот я миновал швейцара; как я ненавидал этого типа с его желтыми галунами, с его ростом футов в шесть и со всем его чувством собственного достоинства. А в это время к обочине подкатил черный автомобиль, из него вылез мужчина, ясное дело — богач; за ним на тротуар ступила женщина, и, естественно, она была прекрасна. Вся в чернобурке, перепорхнула она через тротуар и исчезла в дверях-вертушке отеля, и я подумал: «Ох парень, вот бы тебе хотя самую малость от этого всего, лишь на один день и одну ночь». Я шел дальше, все еще ощущая запах ее духов во влажном утреннем воздухе.

Прошло много времени, пока я остановился перед витриной магазина курительных трубок. Весь мир померк для меня, я мысленно опробовал все трубки. Я видел себя — великого писателя с изящной трубкой из итальянского эрика, с элегантной тростью, вылезавшего из черного авто, и она была рядом, чертовски гордая мной, — леди в чернобурке. Мы зарегистрировались в отеле и поднялись в ресторан, выпили по коктейлю и потанцевали, затем освежились новой порцией коктейля и я продекламировал несколько строчек на Санскрите, и мир был так прекрасен, потому что каждую минуту на меня, великого писателя, сыпались восхищенные взгляды светских красоток, и, не сдержавшись, я оставляю одной из них автограф на меню, а моя чернобурка вспыхивает ревностью.

Лос-Анджелес, дай мне частичку себя! Лос-Анджелес, прими меня, видишь, я здесь, на твоих улицах, ты прекрасный город и я люблю тебя, ты мой печальный цветок среди песков, ты великий город!

Почти каждый день я заходил в библиотеку, там на полках стояли книги великих — старик Драйзер, Мэнкен, другие титаны, и я приходил посмотреть на них: привет, Драйзер, привет, Мэнкен, привет, привет... здесь есть место и для меня, и я садился за стол и просто смотрел на это место, вот оно в самом начале полки под литерой «Б», Артуро Бандини, посторонитесь, дайте место Артуро Бандини, здесь будет стоять его книга рядом с Арнольдом Беннетом, этот Беннет так себе, и я буду что-то вроде подпорки для полки под литерой «Б», Артуро Бандини, один из великих; и так продолжалось до тех пор, пока в зал не входила какая-нибудь девушка, воздух наполнялся запахом ее духов,

и цоканье каблучков нарушало монотонное течение моей славы. То были торжественные моменты! Апофеоз мечты!

Но моя хозяйка, седая старушка, продолжала писать свои записки. Она была родом из Коннектикута, ее муж умер, она осталась одна во всем мире и никому не верила, это было ей просто не по карману, так она мне говорила, и поэтому я должен был заплатить. Мой долг рос и рос, на манер национального, и я должен был выплатить все до последнего цента или убираться — пять просроченных недель двадцать долларов, а если я не рассчитаюсь, она арестует мои чемоданы; только их у меня не было, я приехал с дорожной сумкой, у которой даже ремень отсутствовал, так как я использовал его для поддержки собственных штанов, хотя особой нужды в этом и не было, потому что от штанов практически ничего не осталось.

— Я только что получил письмо от своего агента, — толковал я ей. — Мой агент в Нью-Йорке. Он пишет, что продал еще один мой рассказ, он не сообщает куда и кому, но заверяет, что продажа состоялась. Так что, мисс Харгрейвс, не волнуйтесь и не мучьте себя, я заплачу со дня на день.

Но она не могла поверить такому лгуну, как я. Собственно, это и не было ложью, скорее всего это было желание, но не ложь, а возможно, даже и не желание, может быть, это была истина. Единственным способом прояснить, что же это все-таки было, оставалось караулить почтальона, караулить внимательно, проверять всю корреспонденцию, которую он оставлял на столе в вестибюле отеля, и спрашивать его, нет ли чего для Бандини. Но после шести месяцев пребывания в этом отеле мне уже не нужно было задавать ему вопросов. Завидев меня, почтальон сам давал мне понять: да или нет. Три миллиона раз нет и лишь однажды — да.

Да, однажды письмо все же пришло. О, я получал кучу писем, но это было самое замечательное. Оно прибыло утром, и оно сообщало, что Он прочитал «Собачка смеялась» и рассказ полюбился ему; Он писал: мистер Бандини, если я когда и встречал гения, то это вы. Его звали Леонардо — великий итальянский критик, правда, никому не известный. Это был простой человек из Западной Вирджинии. Но для меня он был великим критиком, и он умер. Он был уже мертв, когда мой ответ прибыл авиапочтой в Западную Вирджинию, и его сестра переправила мне мое письмо обратно. Она также написала несколько строк от себя, в которых рассказала, что ее брат Леонардо умер от чахотки, но последние его дни не были мрачными, радость переполняла его, когда сидя в своей кровати, он писал мне о моем рассказе

«Собачка смеялась»: это только лишь мечта, но мечта очень нужная. Леонардо, он стал для меня святым, поселившимся в раю наравне с остальными двенадцатью апостолами.

Все в отеле прочитали «Собачка смеялась», все до единого. Рассказ, умещавшийся на одной страничке, мог заставить вас умереть. О собаке в нем не было и речи: искусная история и пронзительная поэзия. Только такой великий редактор, как Хэкмут, его подпись напоминала китайские иероглифы, смог оценить это. «Восхитительный рассказ, и я горд, что могу напечатать его», — написал он в своем письме. И мисс Харгрейвс читала «Собачку», и я сразу стал для нее другим человеком. Только благодаря «Собачке» я оставался в отеле, а не шлялся по холодным улицам, хотя чаще там была невыносимая жара. И мисс Грингер из 345-й, Христианский Ученый с красивыми бедрами, но уже слишком старая, которая все сидела в вестибюле дожидаясь смерти, и она прочитала «Собачка смеялась», и рассказ вернул ее к жизни, да, да я понял это по ее глазам, и я был уверен, что она поинтересуется моим финансовым положением, как я собираюсь жить дальше, и тогда я подумал: «А что если попросить у нее в займы?» Но я не попросил, я просто прошел мимо, презрительно пощелкивая пальцами.

Отель назывался Альта-Лома. Он был построен на склоне холма на самом гребне Банкер-Хилла, построен так, что первый этаж был на одном уровне с улицей, а десятый ниже на десять уровней. И если, скажем, вам понадобилось в 862-й номер, то вы селились в лифт и ехали восемь этажей вниз, а если требовалось попасть в подвал, то ехать вам надо было не вниз, а вверх на чердак — одним этажом выше первого.

Ох уж эти мексиканочки! Я все время мечтал о девушке из Мексики. Ни с одной из них я не был знаком, но улицы кишели ими, и Плаза и Китайский квартал просто пылали от них, и я воображал себе, что все они мои, и эта и та, и еще я чувствовал, что когда у меня появятся деньги, так оно и будет. А пока я перебивался без гроша в кармане, они разгуливали на свободе, мои принцессы ацтеков и майя, девушки-сотрудницы Центрального универсама и прихожанки церкви Святой Богородицы. Чтобы полюбоваться на них, я даже посещал мессу. Конечно, это было кощунством, но все же лучше, чем вовсе не ходить на мессу. И когда я писал письмо домой в Колорадо, мне не нужно было врать: «Дорогая мама, в прошлое воскресенье я ходил на мессу. Потом зашел в Центральный универсам и как бы случайно столкнулся с девушкой-

мексиканкой. Это был предлог, чтобы заговорить с ней, я улыбнулся ей и попросил извинить меня. Эти прекрасные девушки так счастливы, когда ты ведешь себя с ними словно настоящий джентльмен, и я рад, что могу просто прикоснуться к ним и унести свои ощущения к себе в номер, где пыль постоянно покрывает мою печатную машинку, и Педро, сидя в своей норке, не спускает с меня черных глаз-бусинок, пока я пребываю в грезах».

Педро — мышонок, хороший мышонок, но не поддающийся дрессировке, он одинаково отвергал как ласку, так и насилие. Я увидел его в первый же день, когда поселился в этой комнате. Это была моя звездная пора: рассказ «Собачка смеялась» был напечатан в августовском номере. И вот пять месяцев спустя я прибыл в Лос-Анджелес автобусом из Колорадо со ста пятьюдесятью долларами в кармане и с огромными планами на будущее. В те дни я придерживался мнения, что мне, как индивидууму, присущи не только самые высокие человеческие качества, но и признаки низкого животного, поэтому Педро мне не мешал. Мышонок это понял и созвал всех своих друзей, комната просто кишела мышами. Но сыр слишком дорого стоил, и мне пришлось перейти на хлеб. А хлеб им не нравился, и вскоре все они исчезли. Все, кроме Педро, аскета Педро, который довольствовался страницами старой Библии.

Ах, тот первый день! Мисс Харгрейвс открыла дверь моей комнаты, комнаты с красным ковровым покрытием на полу, картинами английских ландшафтов на стенах и душем, совмещенным с туалетом, — комната под номером 678. Она располагалась на шестом этаже, единственное окно выходило на склон соседнего холма, который был так близок, что особой надобности в ключах я не видел, тем более что окно было всегда открыто. В это окно я впервые увидел пальму на расстоянии не более шести футов, и это заставило меня погрузиться в думы о Вербном воскресенье, Египте и Клеопатре, правда, ветви пальмы были скорее черные, чем зеленые, их покрывала копоть, наплывающая с Третьей улицы. Ствол пальмы душила короста из пыли и песка, которые надували ветры с пустынь Мохаве и Санта-Аны.

«Дорогая матушка, — писал я домой в Колорадо, — дорогая матушка, мои дела определенно пошли в гору. Мой редактор, великий человек, он был в Лос-Анджелесе, и мы обедали вместе, мы подписали контракт на несколько моих вещей, но я не хочу вдаваться в подробности, дорогая матушка, потому что знаю, что тебя это не интересует и папу тоже, я просто хочу сказать, что для начинающего это отличный контракт, но дело все в том, что он вступит в силу лишь через пару месяцев. Поэтому, мама, пришли мне десять долларов,

пришли пять, мама дорогая, мой редактор (я не называю его имени, потому что знаю, вам не интересно) готовится запустить со мной свой самый грандиозный проект».

Моя дорогая матушка и уважаемый Хэкмут, великий редактор, — им предназначалось большинство моих писем, да практически все. Дружище Хэкмут — мрачный взгляд, волосы, разделенные прямым пробором, — великий Хэкмут с ручкой в руках, подобной мечу, его портрет с автографом висел у меня на стене. Автограф напоминал китайские иероглифы. «Привет Хэкмут, — частенько говорил я. — Господи, как ты пишешь!» Когда же наступали мрачные дни, Хэкмут получал от меня длиннющие письма. «Господи, боже мой, мистер Хэкмут, со мной что-то случилось: изменился мой почтовый индекс, и я не могу больше писать. Как вы думаете, мистер Хэкмут, возможно, это сказывается влияние здешнего климата? Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Как вы считаете, мистер Хэкмут, я пишу не хуже Уильяма Фолкнера? Пожалуйста, ответьте. И еще, мистер Хэкмут, как вы полагаете, секс имеет к этому какое-нибудь отношение? Потому что, видите ли, мистер Хэкмут, дело в том, что...» И я рассказывал ему все. Как я встретил в парке белокурую девушку. Как соблазнял ее, и как она отдалась. Я выписывал историю в мельчайших подробностях, только это не было правдой, это была сплошная сумасшедшая ложь, но все равно это было нечто. Нечто, созданное в соприкосновении с чем-то великим, и он всегда отвечал. Ах, какой он молодец! Отвечал без промедления — великий человек откликнулся на проблемы начинающего таланта. Никто не получал такое количество писем от великого Хэкмута, никто, кроме меня. И я читал их, читал и перечитывал и целовал их. Я останавливался перед портретом Хэкмута и, обливаясь слезами, говорил, что он нашел то, что ему надо, он нашел Бандини, Артуро Бандини, меня.

Скудные дни натиска. Точное слово — натиск: Артуро Бандини перед своей печатной машинкой два дня к ряду, он полон решимости преуспеть, но что-то не срабатывает, самый длительный натиск упорной и стремительной решимости Бандини в его жизни и ни одной строчки, только два слова, напечатанные по всей странице, сверху донизу, два слова, одно словосочетание: пальмовое дерево, пальмовое дерево, пальмовое дерево... Смертельная схватка между мной и пальмовым деревом, и дерево одолевало: видишь, Бандини, вон оно покачивается в дневном мареве, слышишь, поскрипывает в голубизне. После двух дней смертного боя пальмовое дерево победило, я вылез через окно и уселся на его мощные корни. Вскоре я уснул, и маленькие коричневые муравьи устроили пир на моих волосатых ногах.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мне было двадцать. Черт возьми, говорил я себе, не спеши. У тебя в запасе десять лет, чтобы написать книгу, так что успокойся, расслабься и изучай жизнь, иди на улицы. Незнание жизни — вот твоя проблема. Бог ты мой, ведь ты же мужик, так почему у тебя не было ни одной женщины? Ну, как это не было? Была. Много было. Да не было ни одной! Тебе нужна баба, тебе необходимо взбодриться, хорошая встряска пойдет на пользу, поэтому ищи деньги. Они говорят, что это стоит доллар, а в уютном местечке — два доллара, так они говорят. Но на Плаза точно — доллар. Вот и отлично, но у тебя нет доллара и еще кое-чего... Ведь ты трус, Бандини. Даже если бы у тебя и был доллар, ты бы никуда не пошел. Помнишь, в Денвере у тебя был шанс, а ты не решился. Ты трус, как был трусом, так им и остался... И ты рад, что у тебя нет доллара.

Боится женщин! Ха, и это великий писатель! Как он может писать о женщинах, когда у него ни одной не было? Эх ты, ничтожный самозванец, шарлатан и пустозвон, не удивительно, что ты не можешь писать! Понятно, почему у тебя в «Собачке» и не пахнет женщиной. Откуда взяться любовной истории у такого засранца, как ты?

Писать любовную историю и изучать жизнь.

Деньги пришли по почте. Нет, это был не чек от всемогущего Хэкмута и не гонорар из «Атлантик Мансли» или «Ивнинг пост» всего-навсего десять долларов от моей матушки: «Я обналачила несколько страховых полисов, Артуро, и это твоя доля. Десять долларов — не весть сколько, но хоть что-то удалось выручить».

Положи их в карман, Артуро. Умойся, освежись одеколоном, причешись и попутно поищи седые волосы; ведь ты терзаешь себя, Артуро, а терзания приносят седые волосы. Но, кажется, пока нет ни одного. Да, но что такое с твоим левым глазом? Вроде как помутнел. Осторожней, Артуро Бандини: не перенапрягай зрение, помни, что произошло с Таркинктоном и Джеймсом Джойсом.

«Неплохо, — стою посередине комнаты и обращаюсь к портрету Хэкмута, — неплохо да, Хэкмут? Ты получишь рассказ о похождениях этого красавца. Как я выгляжу, Хэкмут? Наверняка ты задумывался, господин Хэкмут, какой

я наружности? Ты спрашивал себя, наверное, он симпатичный этот Бандини, это автор изящного шедевра „Собачка смеялась“».

Как-то в Денвере (тогда я еще не был писателем) вот таким же вечером я находился примерно в такой же комнате, с намерением совершить то же самое. Все закончилось полным провалом, потому что я неотвязно думал о непорочной Деве Марии, о «не прелюбодействуй», и усердная шлюха, печально покачав головой, отступилась от меня. Но это было давно, и сегодня все изменится.

Я вылез в окно и поднялся по склону на вершину Банкер-Хилл. Я принохивался к ночи — пир для моего носа: запах звезд, аромат цветов, дух пустыни и спящей пыли, пыли по всему Банкер-Хиллу. Переливаясь красными, зелеными и голубыми огнями, город был похож на Рождественскую ёлку. Привет вам, старые дома. Сочные гамбургеры поют свою свистяще-шипящую песню в дешевых кафешках. Бинг Кросби поет свою. Она будет нежна со мной. Не то, что эти девчонки из моего детства, моей юности, эти университетские девицы. Они пугали меня, они стеснялись и были недоверчивы, они отвергали меня. Но моя принцесса меня не отвергнет, потому что она все поймет. Ведь она тоже когда-то была унижена.

Вот идет Бандини — невысокого роста, но крепкий, он горд своей мускулатурой, сжимает кулаки, чтобы насладиться жесткой прелестью своих бицепсов — бесстрашный Бандини, ничего не боящийся, разве что неизвестности в мире мистического. Умершие возвращаются? Книжки говорят, что нет, а вот крики в ночи шепчут — да. Мне двадцать, я достиг сознательного возраста, и я намерен шататься по улицам в поисках женщины. Что же — моя душа уже запятнана? Я должен вернуться? Мой ангел-хранитель следит за мной? Молитвы моей матери заглушат мои страхи? А может, молитвы моей матери раздражают меня?

Десять долларов: можно заплатить за полторы недели хозяйке, можно купить три пары обуви, две пары брюк или тысячу почтовых марок, для того чтобы рассылать рукописи редакторам — безусловно! Но у тебя нет рукописей, твой талант под сомнением, жалкий твой талант, да у тебя нет никакого таланта, и хватит врать себе изо дня в день, ведь ты знаешь, что твоя «Собачка» — дрянь и всегда будет дрянью.

И вот ты идешь по Банкер-Хиллу и грозишь небесам кулаком, и я знаю, о чем ты думаешь, Бандини. Эти мысли ты унаследовал от отца, и теперь они

хлещут тебя по спине и распалют твой мозг, и эти мысли о том, что ты не виноват. Не виноват, что родился бедным, что сын нищих крестьян, что скитаешься, что сбежал от бедности из родного города в Колорадо в надежде написать книгу и разбогатеть, ведь те, кто ненавидел тебя в Колорадо, будут относиться к тебе по-другому, если ты напишешь книгу. Ты трус, Бандини, ты предал свою душу, ничтожный лгун, перед ликом Христа, проливающего слезы. Вот поэтому ты и пишешь, и лучше бы тебе умереть.

Да, все это сушая правда, но... я видел дома в Бел-Айре с зелеными лужайками и прохладными бассейнами. Я хотел обладать женщинами, одни туфельки которых стоили больше, чем все барахло нашего семейства. Я заглядывал в окна гольф-клубов на Шестой улице и сгорал от желания ворваться туда. Я тосковал о приличном галстуке, как праведник об индальгенции. Я восхищался шляпами в «Робинсоне» так же, как критики сходили с ума по Микеланджело.

Я спускаюсь по Энжелс-Флайт к Хилл-стрит — сто сорок ступеней. Кулаки сжаты, никого не боюсь, лишь опасуюсь тоннеля на Третьей, не могу пройти сквозь него — клаустрофобия. Еще не переношу высоты, крови и землетрясений. А в остальном вполне бесстрашный. Вообще-то, еще смерти боюсь и громко смеяться в толпе, аппендицита боюсь и сердечного приступа. Мне даже страшно просто взять часы и, нащупав яремную вену, сосчитать удары сердца, тем более слушать таинственное мурлыканье и ворчанье его желудочка. А в остальном вполне бесстрашный.

Есть денежная идея: место действия — эти ступени, внизу город, до звезд рукой подать, парень встречает девушку своей мечты — отличная завязка, крупные деньги. Девушка живет вон в том сером доме, парень — бродяга. Парень — это я. Девушка голодает. Богатая девушка из Пасадены ненавидит деньги. Она намеренно покинула Пасадену с ее тоской и миллионами. Восхитительная девушка, богиня. Великая история, патологический конфликт. У девушки на деньги развилась фобия — фрейдистская завязка. Еще один парень любит девушку, он богат. Я беден. Мы встречаемся. Я уничтожаю соперника саркастическим остроумием, затем укладываю на кулаках. Девушка сражена, она западает на меня. Предлагает мне все свои миллионы. Я женюсь на ней при условии, что она останется бедной. Соглашается. Но финал счастливый: девушка обманывает меня — в день свадьбы ей перепадает огромный траст-фонд, по завещанию. Я возмущен, но прощаю ее. Причина — я люблю ее. Отличная идея, но есть неувязочка: история принадлежит «Колеру».

Дорогая матушка, спасибо за перевод. Агент сообщил о продаже еще одного рассказа, на этот раз в солидный лондонский журнал, но, очевидно, они не выплачивают гонорары до публикации, так что ваше небольшое вспоможение весьма кстати и пойдет на первостепенные нужды.

Я посетил стриптиз-шоу. Взял самое лучшее место — доллар и десять центов — в нижнем ряду среди дружного хора из сорока протертых сидений. Однажды все это будет только для меня: личная яхта и круиз по Южному морю. В теплый полдень они будут танцевать на залитой солнцем палубе. Пусть себе танцуют, потому что я буду пользоваться только прекрасных дам, отобранных из сливок общества, они будут соперничать за право познать радости моей каюты. Так что все хорошо, это опыт, я здесь не без основания, эти моменты перетекут на страницы — изнанка жизни.

И вот под оглушительный взрыв топота и свиста появилась Лола Линтон, скользя по сцене словно атласная змея, ее сладострастие обволакивало и грабило мое тело, а когда она закончила, у меня зубы ломило от напряжения стиснутых челюстей, и я ненавидел этих грязных примитивных свиней вокруг себя, которые бесцеремонно выплескивали свою тошнотворную радость, принадлежащую только мне.

Если мама продала страховые полисы, значит, дела у папаши идут туго и я не должен быть здесь. Еще ребенком, разглядывая Лолу Линтон на афишах, я приходил в яростное нетерпение от неповоротливого времени и медленно протекающего детства, я жаждал вот этого самого момента, и вот я здесь и ничего не изменилось, я не заполучил ни одну Лолу Линтон и все потому, что воображал-то я себя богатым, а я бедный.

Шоу закончилось. Мэйн-стрит, полночь: неоновые лампы и легкий туман, притоны и ночные кинотеатры. Магазины «секонд-хэнд» и филиппинские тацзалы, пятнадцатидесятицентовые коктейли, непрерывная череда развлечений, но все это я уже пробовал, много раз, потратив кучу денег, денег, приходящих из Колорадо. И все это делало меня еще более удрученным, как измученного жаждой человека, которому суют пустую чашу. Я шел дальше, в мексиканский квартал, ощущая в себе болезнь, но не чувствуя никакой боли. Здесь была церковь Девы Марии, очень старая, кирпич почернел с годами. По причине сентиментальности я зайду внутрь. Исключительно благодаря сентиментальности. Я не читал Ленина, но я слышал его изречение: религия — это опиум для народа. Что касается меня, я атеист: я читал «Антихристианина» и считаю, что это отличное произведение. Я верю в

переоценку ценностей, господ. Церковь — это прибежище для болванов, олухов, прохвостов и всей этой шайки Бирмингемских шарлатанов.

Я толкнул огромную дверь, и она, издав легкий вскрик, подобный плачу, открылась. Верх алтаря излучал кроваво-красный свет, отбрасывая кармазинные тени на безмолвие почти двух тысячелетий. Церковь походила на обитель смерти, но вместе с тем мне чудились крики младенцев на крестинах. Я преклонил колена. Это привычка — плюхаться на колени. Я сел. Но преклоненным оказалось быть лучше, острая боль в коленях отвлекала от ужасного безмолвия царившего вокруг. Молитва. Всего лишь одна молитва в дань сентиментальности. «Всемогущий Господь, мне жаль, что я атеист, но Вы читали Ницше? Ах, какая книга! Всемогущий Господь, я буду играть в открытую. Я предлагаю Вам сделку. Сделайте меня великим писателем, и я вернусь в лоно церкви. И, пожалуйста, дорогой Господь, еще одно одолжение: сделайте мою матушку счастливой. Я не прошу за старика, у него есть вино и здоровье, чтобы постоянно хлебать его, но вот матушка, она так страдает. Аминь».

Я затворил за собой плаксивую дверь и остановился на ступенях паперти. Туман был повсюду, словно развалившееся огромное белое животное. Пейзаж напомнил мне площадь перед зданием суда у меня на родине, занесенную снегом и застывшую в белой тишине. Но звуки города просочились сквозь молочную толщу, и я услышал приближающийся цокот каблучков. Появилась девушка. Она была в зеленом пальто, ее лицо обрамлял зеленый шарфик, завязанный под подбородком.

На ступенях стоял Бандини.

— Привет, мой сладкий, — сказала девчонка, улыбаясь так, что можно было подумать, будто Бандини ее муж или любовник. — Не желаешь хорошо провести время?

Крутой любовник, дерзкий и наглый Бандини:

— Не-е, — ответил он. — Спасибо. Не сегодня.

И поспешил удалиться, оставляя девушку, бросающую ему вслед какие-то слова, которые он и не расслышал в своем бегстве. Он прошел полквартиры. В общем-то, он был доволен. В конечном счете, она первая обратилась к нему. Значит, она идентифицировала его как мужчину. От явного удовольствия он стал высвистывать мелодию. Светский человек приобретает

универсальный опыт. Знаменитый писатель ведет ночную беседу с уличной женщиной. Артуро Бандини, известный романист, поверяет свой опыт общения с лос-анджелесской проституткой. Критики провозглашают — книга превосходна.

Бандини (из интервью перед отъездом в Швецию): «Мой совет всем молодым авторам предельно прост. Я бы предостерег их от одного — никогда не чурайтесь новых впечатлений. Будьте открыты для всей жизни, смело вступайте с ней в схватку, атакуйте ее с голыми кулаками».

Репортер: «Мистер Бандини, как вы пришли к идее написать книгу, за которую вас удостоили Нобелевской премии?»

Бандини: «Книга основана на реальных событиях, которые произошли со мной одной ночью в Лос-Анджелесе. Каждое слово в этой книге — правда. Я прожил эту книгу, я все это испытал».

Хватит. Все это уже было. Я развернулся и пошел обратно к церкви. Непроглядный туман. Девушки там не оказалось. Я двинул дальше: возможно, удастся догнать. Увидел на углу. Она стояла и разговаривала с рослым мексиканцем. Болтая, они перешли улицу и вышли на Площадь. Я последовал за ними. Черт, мексиканец! Такая женщина должна выставить заслон для цветных. Я ненавидел его — латинос, бык. Они шли под банановыми пальмами, и шаги их отзывались эхом в тумане. Мексиканец рассмеялся. Затем расхохоталась девушка. Они прошли Площадь и свернули в переулок, который вел в Китайский квартал. Неоновые вывески с восточными каракулями окрашивали туман в розовое. Они подошли к дому рядом с рестораном «чоп-суи» и поднялись по лестнице. Напротив работал дансинг. По обе стороны дороги были припаркованы такси. Я присел на переднее крыло автомобиля, что стоял перед подъездом, где они скрылись, и стал ждать. Я курил и ждал. Пока не замерзну на фиг, я буду ждать. Пока Всемогущий не сразит меня насмерть, я буду ждать.

Прошло полчаса. На лестнице послышались шаги. Дверь отворилась, появился мексиканец. Он вышел в туман, закурил и зевнул. Затем улыбнулся, передернул плечами и двинул прочь. Туман поглотил его. Проваливай и улыбайся. Ты, вонючий бык — чему ты лыбишься? Выкидыш деградирующей нации, ты поднялся в номер с одной из наших белых девочек и ты улыбаешься. Ты думаешь, у тебя был бы шанс, если бы я не отказался там, на ступенях церкви?

Вскоре по лестнице зацокали каблуки, теперь в туман ступила девушка. Та же самая девушка, то же зеленое пальто, тот же зеленый шарфик. Она увидела меня и улыбнулась.

— Привет, милый. Хочешь развлечься?

Теперь спокойно, Бандини.

— Ну, — начал я, — возможно. А возможно и нет. А что ты умеешь?

— Поднимись ко мне, дорогой, и все узнаешь.

Кончай ухмыляться, Артуро. Будь вежлив.

— Можно и подняться, — ломался я. — А можно и не подниматься.

— Ах, шалунишка, пошли.

Узкое лицо, запах кислого вина изо рта, слашавая, лицемерная нежность и жадные до денег глаза.

Реплика Бандини:

— Какая сегодня цена?

Она берет меня за руку, тянет к двери, правда, ласково.

— Ты подымешься, дорогуша, и мы там обо всем договоримся.

— Вообще-то, я не совсем в настроении, — талдычит Бандини. — Как раз с оргии возвращаюсь.

Дева Мария, полная грации и изящества, уже подымаюсь по лестнице, но я не смогу исполнить все до конца. Я должен избавиться от этого. Коридоры, воняющие тараканами, желтый свет под потолком, я слишком возвышен для всего этого, девушка, удерживающая мою руку, нет, это ошибка! Артуро Бандини, ты — мизантроп, твоя жизнь обречена на безбрачье, тебе следовало бы быть священником, каким-нибудь отцом О'Лири, рассказывать о радостях самоотречения и самоограничения, в том числе и от родительских денег. О, Дева Мария, зачавшая без греха, молись за нас, за тех, кто взывает к тебе, молись, пока мы поднимаемся на самый верх, идем в конец пыльного, темного коридора в ее комнату, она включает свет, и мы входим.

Комната меньше моей, без половика, без картинок, стол, стул, умывальник. Девушка скинула пальто. На ней было синее ситцевое платье. Без чулок. Снимает шарфик. Она не блондинка, корни волос черные. Нос с горбинкой. Бандини на кровати, он расположился с небрежным видом, словно человек, который знает, как сидеть на чужой кровати.

Бандини:

— Отличное гнездышко у тебя.

Господи, мне надо убираться отсюда, это ужасно. Девица села рядом, обняла, прижавшись ко мне своей грудью, поцеловала. Холодный язык ее коснулся моих зубов. Я вскочил. Думай быстрее, мозг, прошу тебя, дорогой мой мозг, вызволи меня отсюда, и этого никогда больше не повторится. С этого момента я вернусь в лоно церкви. С этого дня моя жизнь потечет как чистый ручеек.

Она разлеглась на кровати, заложив руки за шею. Но я еще буду нюхать сирень в Коннектикуте, вне всякого сомнения, перед смертью, и увижу опрятные белые церквушки моей юности, с пастбищ которых я сбежал, порушив загоны.

— Послушай, — сказал я. — Хочу с тобой поговорить.

Она скрестила ноги.

— Я писатель и собираю материал для книги.

— Я знала, что ты писатель, — отозвалась она, — или бизнесмен, или что-то в этом роде. У тебя умный вид, дорогой.

— Я писатель, понимаешь. Ты мне нравишься и все такое. Ты классная. Я балдею от тебя. Но сначала я хочу с тобой поговорить.

Она села.

— У тебя есть деньги, милоч?

Деньги — хо! И я вытянул пухлую пачку долларов. Естественно, у меня есть деньги, много денег, и это капля в море, деньги не тема для разговора, деньги для меня ничего не значат.

— Почем заряжаешь?

— Два доллара, сладкий.

Я дал три, отстегнул с легкостью, словно это суший пустяк для меня, отвалил с улыбкой, деньги не проблема, там, откуда они пришли, есть больше, и пусть в этот момент мама сидит у окна, перебирает свои четки и поджидает, когда папаша вернется домой, деньги есть, деньги есть всегда.

Она сунула плату под подушку. Она была довольна, и улыбка ее стала другой. Писатель желает побеседовать. Как обстоят дела на сегодняшний день? Нравится ли ей такой образ жизни? Ох, будет, дорогой, давай переходить к делу. Нет, я хочу поговорить с тобой, это важно, новая книга, свежий материал. Я часто так поступаю. Как ты умудрилась вляпаться в такое дерьмо? Ой, солнце, ты и об этом собираешься у меня выпрашивать? Ну я же говорил, деньги для меня не проблема. Но дело в том, что для меня время — это деньги. Тогда вот еще пара баксов. Это уже пять, Господи, пять баксов долой, а я все еще здесь, как я ненавижу тебя, ты омерзительна. И все же ты чище меня, потому что у тебя нет души на продажу, лишь жалкая плоть.

Она была ошеломлена, теперь она готова на все. Я мог бы воспользоваться этим, как мне заблагорассудится, и она попыталась подтолкнуть меня, но погоди минутку. Я же говорю тебе, я хочу побеседовать, я повторяю, деньги — не проблема, вот еще три, итого восемь долларов, но это не имеет никакого значения. Просто возьми эти восемь баксов и купи себе что-нибудь эдакое. Тут я щелкнул пальцами с видом человека, что-то вспомнившего, нечто важное, безотлагательное.

— Послушай! — воскликнул я. — Совсем забыл. Сколько сейчас времени?

Ее подбородок поглаживал мою шею.

— Не волнуйся о времени, мой сладкий. Можешь оставаться на всю ночь.

Нечто важное, ах да, наконец-то вспомнил, мой издатель, он сегодня прилетает. В Бербанк! Прилетает в Бербанк — далековато. Надо еще поймать такси и ехать, придется поторапливаться. До свидания, всего хорошего, оставь эти восемь долларов, купи себе что-нибудь красивое, прощай, пока! Бегом вниз по лестнице, пулей отсюда, внизу в дверном проеме долгожданный туман, пусть эти восемь долларов остаются тебе, о, чистый

туман, я вижу тебя, я иду к тебе, ты чистый глоток и прекрасный мир, я спешу к тебе, прощай, визжащая лестница, скоро увидимся, у тебя есть восемь долларов, купи себе что-нибудь хорошее. Восемь долларов стояли у меня перед глазами. О, Боже, убей меня и отправь мое тело домой, прикончи меня как поганого язычника без причащения, без соборования, восемь долларов, восемь долларов...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Скудные дни — синее небо без единого облачка, сплошное синее море день за днем и плывущее по нему солнце. Дни изобилия — изобилия терзаний и апельсинов. Поедать апельсины с утра в кровати, ими обедать, давиться на ужин. Апельсины, пять центов за дюжину. В небе солнечный свет, и в желудке моем солнечный сок. Походы на японский рынок. Завидев меня, круглолицый японец улыбался и доставал бумажный пакет. Щедрый человек, он отваливал мне по пятнадцать, а то и по двадцать плодов за никель.

— Хотите бананы?

Конечно. И он докладывал парочку. Приятное новшество, апельсины плюс бананы.

— А яблоки?

Несомненно. И круглолицый добавлял несколько яблочек. Какое-никакое разнообразие, апельсины в прикуску с яблоками.

— Персик?

Безусловно.

Я волок коричневый пакет домой. Интригующее сочетание: персики и апельсины. Мои зубы вгрызались в мякоть фруктов, соки ворочались на дне живота и жалобно журчали. Было так уныло, там у меня в животе. Мне слышался скорбный плач, и маленькие мрачные облачка сжимали мое сердце.

Такое состояние загнало меня за печатную машинку. Я сидел перед ней — переполненный горем Артуро Бандини. Иногда по комнате проносилась какая-нибудь идея.словно маленькая белая птичка. Она была вполне безобидна, не привносила ни сумятицы, ни беспорядка. Она только хотела

помочь мне, милая белая пичужка. Но я набрасывался на нее и долбил ею по клавиатуре. В моих руках она была обречена на смерть.

Что же могло случиться со мной? Мальчишкой я молил святую Терезу послать мне новую авторучку. И мои молитвы были услышаны. Так или иначе у меня появлялась новая авторучка. Сейчас я снова обратил свои молитвы святой Терезе. Пожалуйста, дорогая и любимая праведница, пошли мне идею. Но она покинула меня, все боги отвернулись от меня, подобно Гаусману я остался один, кулаки мои сжались, на глазах слезы. И все, кто любил меня, все теперь отошли в прошлое. Даже Педро отрекся от меня, потому что самое большее, что я мог предложить ему, это были апельсиновые корки.

Я думал о доме: спагетти, плавающие в густом томатном соусе и щедро посыпанные пармезанским сыром, мамин пирог с лимоном, жаркое из баранины и горячий хлеб, я был так несчастен, что впивался ногтями в кожу на собственной руке и сжимал до тех пор, пока не появлялась кровь. Это приносило удовлетворение.

Я был самым несчастным созданием Бога, принужденным даже к самоистязанию. Естественно, на всей Земле не было горя горше моего.

Хэмут должен был узнать об этом, могущественный Хэмут, который пестовал гения на страницах своего журнала. Дорогой мистер Хэмут, начинал я и впадал в воспоминания о добром славном прошлом, дорогой Хэмут, страница за страницей, пока пылающий шар солнца на Западе медленно погружался в полосу тумана, поднимающегося с побережья.

Раздался стук в дверь, но я не шелохнулся, потому что это могла быть хозяйка насчет своей паршивой ренты. Дверь приоткрылась, и появилась лысая голова с осунувшимся бородатым лицом. Это был мистер Хеллфрик, он жил по соседству. Мистер Хеллфрик называл себя атеистом, бывший военный, теперь он прозябал на скудную пенсию, которой едва хватало, чтобы оплачивать его счета из винной лавки, несмотря на то, что он покупал самый дешевый джин. Хеллфрик постоянно ходил в одном и том же сером халате, на котором не было ни пояса, ни пуговиц. Выставляя из себя благопристойного человека, он совершенно не заботился, что халат всегда распахнут, и вы никуда не могли деться от вида груды мослов, поросшей волосами. Глаза у него, были красные, потому что после обеда, когда солнце добиралось до западной стороны отеля, он имел привычку спать, высунув

голову из окна. Хеллфрик занял у меня пятнадцать центов, еще в первый день моего появления в отеле, но после многочисленных безуспешных попыток затребовать долг я оставил всякую надежду. Этот инцидент послужил причиной размолвки между нами, так что я был удивлен, увидев его голову в моей комнате.

Озираясь украдкой, он приложил палец к губам и зашипел на меня, предупреждая от шума, хотя я не проронил ни слова. Я хотел выказать ему свою враждебность, чтобы напомнить, что не питаю ни малейшего уважения к человеку, который не выполняет своих обязательств. Он тихонько прикрыл дверь и, ступая на цыпочках, направился ко мне, халат был широко распахнут.

— Ты любишь молоко? — прошептал он.

Конечно, я любил молоко и не стал скрывать этого. Тогда он изложил свой план. Тот парень из компании «Олдан», что развозил молоко по Банкер-Хиллу, был его другом. Каждое утро в четыре часа он оставлял свой грузовик на заднем дворе и поднимался к Хеллфрику по черной лестнице, чтобы принять джина.

— Так что, — заключил он, — если ты любишь молоко, все, что от тебя требуется, это не стесняться.

Я покачал головой.

— Это подло, Хеллфрик!

Я был поражен такой дружбой между Хеллфриком и молочником.

— Если он твой друг, кто заставляет тебя воровать молоко? Он пьет твой джин. Почему бы тебе не спросить у него молока?

— Но я же не пью молоко, — возразил Хеллфрик. — Я делаю это для тебя.

Похоже, таким образом он надеялся отделаться от своего долга. Я покачал головой.

— Нет, спасибо, Хеллфрик, мне не надоело считать себя честным человеком.

Он пожал плечами и запахнул халат.

— Ладно, пацан, я только хотел помочь тебе.

Я продолжил письмо Хэкмуту, но буквально сразу начал ощущать вкус молока. Вскоре это стало невыносимой мукой. Я лег на кровать и в потемках позволил соблазну делать свое дело. Очень быстро всякое мое сопротивление было сломлено, и я постучал в дверь Хеллфрика. Его комната отдавала безумием, пол был завален бульварными журнальчиками, на кровати клубились почерневшие простыни, повсюду разбросана одежда, на голых стенах лишь одежные крючки, словно редкие зубы в старческой челюсти. На стульях грязные тарелки, на окне сигаретные окурки, затушенные прямо о подоконник. В общем-то, его комната была почти как моя, если не считать маленькой газовой плиты в одном углу и полки для посуды. Хеллфрик платил домовладелице по особой таксе, так что уборка и белье лежали на нем, о чем он вовсе не заботился. Хозяин сидел в кресле-качалке в своем неизменном халате, в ногах стояла бутылка джина. Он пил прямо из горлышка. Он пил всегда, и днем и ночью, но никогда не был пьян.

— Я передумал, — заявил я.

Хеллфрик приложился к бутылке, наполнил рот джином, погонял его между щек и проглотил с восторгом.

— Допинг, — сказал он, поднялся с кресла и направился к штанам, которые валялись на полу.

На мгновение я решил, что он собирается отдать мне долг, но тот лишь пошарил по карманам по каким-то загадочным соображениям и вернулся в кресло с пустыми руками. Я не уходил.

— Я тут вспомнил, — заговорил я, — и подумал, может, вы вернете деньги, которые должны мне.

— У меня их нет.

— Ну, отдайте хотя бы часть — скажем, центов десять.

Он отрицательно покачал головой.

— Пять?

— Я на мели, малыш.

И он снова приложился к бутылке, она была еще почти полная.

— Наличных у меня нет, малыш. Но молока у тебя будет столько, сколько захочешь.

И он снова изложил свой план.

Молочник приедет около четырех. Я должен не спать и дожидаться, пока он не постучится в его дверь. Хеллфрик задержит его по крайней мере минут на двадцать.

Понятно, что это был подкуп, средство избежать выплаты долга, но я изнывал от голода.

— Но ты все же отдашь свой долг, Хеллфрик. Если я включу счетчик, ты попадешь в большое дерьмо.

— Я отдам, малыш, — забормотал он, — я выплачу все до последнего цента сразу, как только смогу.

Я вышел, сердито хлопнув дверью. У меня не было желания проявлять жестокость, но Хеллфрик зашел слишком далеко. Я же знал, что он отстегивает по тридцать центов за пинту джина. Мог бы, наверняка, придержать свою жажду до тех пор, пока не расплатится с долгами.

Ночь подступала неохотно. Я сидел на окне и скручивал сигареты из махры и туалетной бумаги. Эта махорка — моя прихоть былых времен, более благополучных. Я купил целую банку, к которой бесплатно получил курительную трубку, она была прикреплена к банке резиночкой. Но трубку я потерял. Махорка была настолько грубая, что почти не курилась в обыкновенной бумаге, но обернутая дважды в туалетную, курилась свободно, иногда даже вспыхивали язычки пламени и сигареты получались прочные и аккуратные.

Ночь надвигалась постепенно: сначала ее прохладный аромат, затем темнота. За моим окном простирался огромный город: уличные фонари — красные, синие; зеленые неоновые лампы распустили свои бутоны, как яркие ночные цветы.

Голод я уже не чувствовал, под кроватью хранилось еще много апельсинов, а таинственные фырчания у меня в животе были не чем иным, как

неистовством большого облака табачного дыма, которое блуждало по моей утробе в поисках выхода.

Итак, в конце концов это должно было произойти: я собирался стать вором — дешевым молококрадом. Вот он ваш мимолетный гений, автор одного рассказа — вор. Обхватив голову руками, я раскачивался из стороны в сторону. Мать Божья! Заголовки на первых полосах: многообещающий писатель пойман на краже молока, известный протеже мистера Хэкмута привлечен к суду за мелкую кражу, рой репортеров вокруг меня, хлопки фотовспышек... «Скажите, Бандини, как это произошло?» — «Ну что тут скажешь, друзья мои, вы же знаете, что я получил приличную сумму денег, продал много своих рукописей и все такое, но я пытался написать рассказ о человеке, который вынужден был украсть бутылку молока, мне нужно было испытать это самому, вот так это и произошло, друзья. Ждите рассказ в „Посте“, я назвал его „Молочный воришка“. Оставьте свой адрес, и я вышлю вам всем по экземпляру».

Но так не будет, потому что Артуро Бандини никто не знает, ты получишь шесть месяцев, и тебя посадят в городскую тюрьму, ты станешь преступником. Что скажет на это твоя мать? Что скажет отец? И разве ты не слышишь тех людей, собравшихся на бензозаправке в Боулдер-Сити в твоём родном штате Колорадо, как они хихикают по поводу великого писателя, попавшегося на воровстве квартиры молока? Не делай этого, Артуро! Если осталась в тебе хоть унция порядочности, не делай этого!

Я подскочил со стула и заходил по комнате. О всемогущий Боже, дай мне силы! Удержи от преступных помыслов! И внезапно весь план ограбления представился мне простой дешёвкой и глупостью, и я подумал, что бы ещё такое написать великому Хэкмуту, и печатал два часа, пока не заныла спина. Когда я снова выглянул в окно, часы на отеле Сент-Поул показывали одиннадцать. Письмо получилось очень длинное — двадцать страниц. Я перечитал его. Оно показалось мне глупым. Я почувствовал, как краска стыда заливает лицо. Хэкмут посчитал бы меня за идиота, прочитай он эту ерунду. Собрав страницы, я швырнул их в мусорную корзину. Завтра будет новый день, и возможно, завтра появится замысел для нового рассказа. А пока я съем парочку апельсинов и лягу в кровать.

Скверные апельсины. Расположившись на кровати, я впился ногтями в тонкую кожу. Моя собственная плоть содрогнулась, рот наполнила слюна, и я поморщился при одной мысли о еде. Когда же я откусил желтую мякоть,

меня словно окатило холодным душем. Ох Бандини, обратился я к своему отражению в зеркале платяного шкафа, на какие жертвы ты идешь ради своего искусства! Ты бы мог быть промышленным магнатом или крупным коммерсантом, или великим бейсболистом, ведущим нападающим Американской лиги с результативностью в 415 очков. Но нет! Ты здесь, изо дня в день влачишь свое существование, умирающий с голода гений, преданный до конца своему божественному призванию. Каким ты обладаешь мужеством!

Я лежал в кровати без сна, в полной темноте. Величественный Хэкмут, что бы он сказал на все это?! Он был бы восхищен, его мощное перо в отточенных фразах пропело бы мне панегирик. И в конце-то концов, то мое письмо Хэкмуту, не такое уж оно и плохое. Я поднялся, вытащил листы из корзины и перечитал. Замечательное письмо, тонкий юмор. Хэкмут будет просто изумлен. Тот факт, что это написано автором «Собачка смеялась», должен потрясти его. Для вас имеется рассказ, Хэкмут!

Я плюхнулся на кровать и снова принялся за чтение, я смеялся, я хохотал, до чего было остроумно изложено, я был изумлен, что смог написать такое. И тогда я стал читать вслух, жестикулируя перед зеркалом. Когда закончил, слезы восхищения блестели на моих глазах и я предстал перед портретом Хэкмута, чтобы выразить благодарность за признание моего гения.

Усевшись за печатную машинку, я продолжил письмо. Ночь становилась все глубже, страницы прибавлялись. Ах, если бы всегда писалось так легко, как сейчас Хэкмуту! Стопка отпечатанных листов росла на глазах: двадцать пять, тридцать, пока я не обратил внимание на свой пупок, под которым обнаружил жировую складку. Вот это насмешка! Я прибавлял в весе — откормился на апельсинах! Моментально я вскочил и бросился делать зарядку. Я делал наклоны, приседания и отжимания. Выступил пот, дыхание участилось. Изможденный, я рухнул на кровать. стакан холодного молока пришелся бы сейчас кстати.

И тут я услышал, как в дверь Хеллфрика постучали. Затем ворчанье соседа, и кто-то вошел к нему. Это был не кто иной, как молочник. Я посмотрел на часы — около четырех. Моментально оделся: брюки, свитер, ботинки на босую ногу. В коридоре пусто, лишь зловещий красный свет от старой одинокой лампы. Я шел неторопливо, без лишних телодвижений, просто человек направляется в уборную. Два пролета чувствительной, поскуливающей лестницы — и я на первом этаже. Красно-белый грузовик

молочной компании «Олден» был припаркован к стене отеля в залитой лунным светом аллее. Я забрался в кузов и ухватил за горлышки две бутылки молока, две кварты. Я ощущал, какие они холодные и вкусные. Вскоре я был уже в своей комнате, бутылки стояли на столе. Они казались мне одухотворенными. Они были так прекрасны, полные жирного и насыщенного нектара.

Артуро! — воскликнул я. — Ты счастливчик! Возможно, это благодаря молитвам твоей матери, возможно, Бог все еще любит тебя, несмотря на твои темные делишки с атеистами, как бы там не было, но ты — счастливчик.

Во имя прошлого, подумал я, и опустился на колени, ради доброго прошлого, и прочел молитву милости Господней, как по обыкновению мы делали в начальной школе, как учила нас дома матушка: Благослови нас, Боже, и дары эти, которые мы получаем из милостивых рук Твоих через Христа, Господа Бога нашего. Аминь. Затем присовокупил молитву о ниспослании всякой благодати. И уже давно молочник покинул комнату Хеллфрика, а я все еще стоял на коленях, целых полчаса молитвы, пока жажда отведать молока не сдавила горло, пока не затекли колени и тупая боль не запульсировала между лопаток.

Когда подымался, то пошатнулся от мускульных спазмов, но это должно было пойти на пользу. Я открыл бутылку, вынул зубную щетку из единственного стакана и наполнил его до краев. Затем повернулся к портрету Хэкмута:

— За тебя, Хэкмут! — провозгласил я. — Ура!

И стал пить, жадно, пока вдруг мое горло не сжалось, и я поперхнулся от ужасного вкуса. Это было молоко, которое я ненавидел. Это была пахта. Я выплюнул все в раковину, прополоскал рот водой и бросился ко второй бутылке. Тоже самое — пахта.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бар на Спринг-стрит, напротив секонд-хэнда. С последним никелем в кармане я зашел туда выпить кофе. Местечко в старом стиле: опилки на полу, голые, грубо обмазанные стены. В этом доисторическом салуне собирались старики, здесь пиво было дешево и кисло, здесь время остановилось в далеком прошлом.

Я сел за столик у стены. Помню, я сидел обхватив голову руками. Я не поднял взгляда, когда услышал ее голос. Помню, она спросила: «Вам что-нибудь принести?» И я пробормотал что-то насчет кофе со сливками. Я сидел не меняя позы, пока чашка не появилась передо мной, казалось, я просидел целую вечность, размышляя о своей беспросветной судьбе.

Кофе был отвратный. Когда же я добавил в него сливок и перемешал, то подумал, что это вовсе были не сливки, потому что месиво стало какого-то серо-буро-малинового цвета. Вкус же напоминал отвратительный запах кипящихся половых тряпок. И за такое дерьмо я должен был выложить свой последний никель? Меня это взбесило. Я искал взглядом девушку, которая меня обслужила. Она подавала пиво с подноса столиков пять-шесть от меня. Стояла она спиной ко мне, и я видел сквозь белую блузку гладкие контуры ее узких плеч, слабый след напряженных мускул на руках и черные волосы, такие густые и блестящие, лавиной ниспадающие на плечи.

Когда она наконец повернулась, я поднял руку и помахал ей. Ноль внимания, лишь глаза слегка расширились, выражая отчужденность. Если бы не удивительный контур ее лица и восхитительный блеск зубов, она бы не была красива. Я заметил чудную белую полоску под губами, когда она улыбалась старому своему клиенту. Майяский нос — приплюснутый с большими ноздрями. Губы густо накрашены — толстые губы негритянки. Цветная. И все же она была красива и слишком необычна для меня. Раскосые глаза, темная, но не черная кожа, и грудь, которая при ходьбе волновалась так, что было ясно, какая она упругая.

Она игнорировала мои знаки. Подошла к стойке, заказала еще пива и стала дожидаться, пока тощий бармен не выдаст заказ. Ждала и насвистывала, смотрела на меня отсутствующим взглядом и продолжала свистеть. Я прекратил подавать ей знаки, но дал понять совершенно определенно, что хочу, чтобы она подошла к моему столику. Неожиданно она запрокинула голову и загадочно расхохоталась в потолок, так что даже бармен был весьма озадачен ее смехом. А она уже танцевала между столиков, направляясь к компании мужиков в глубине салуна. Бармен провожал ее взглядом, все еще недоумевая от ее поведения. Но я все понял. Смех предназначался мне. Надо мной она смеялась. Что-то было такое в моей внешности, моем выражении лица, возможно позе, что так позабавило ее. От этих мыслей мои кулаки сжались, и я стал осматривать себя, злой и оскорбленный. Коснулся волос — они были причесаны, ощупал воротничок и галстук — все было свежее и на своих местах. Тогда я сместился так, чтобы попасть в зону отражения

зеркальной стойки, и увидел взволнованное и болезненное лицо, но оно не было смешным, и я озлобился пуще.

Я выдавил презрительную улыбку и стал наблюдать за ней. К моему столику она не приближалась. Двигалась вокруг да около, подходила даже к соседнему, но на большее не отваживалась. Всякий раз, когда она оказывалась ко мне лицом и ее огромные черные глаза вспыхивали все тем же смехом, я искривлял губы, давая понять, что просто глумлюсь над ней. Это стало игрой. Кофе остыл, стал совсем холодным, на поверхности образовалась молочная пенка, но я не притронулся к нему. Девушка порхала, как балерина, на своих крепких и стройных ножках, и опилки липли к ее изодранным туфлям, когда она скользила по мраморному полу.

Ее туфли — это были гуарачи, кожаные плетеные ремешки многократно опутывали лодыжки. Ужасно драные гуарачи, кожа полопалась, и ремешки расплетались. Но я смотрел на эти лохмотья с глубоким чувством признательности, поскольку они были единственным изъяном, заслуживающим критики. Сама девушка была высокая, стройная, осанка прямая, девушка лет двадцати, безупречная, если бы не эти изодранные гуарачи. Я впился в них пристальным взглядом и следовал за ними неотступно, я вертелся на своем стуле, крутил шей, чтобы не выпустить их из вида, я ухмылялся и хихикал сам с собой. Явно я получал от этого не меньше удовольствия, чем она от моей физиономии, или не знаю, что уж так позабавило ее во мне. Эффект был мощный. Постепенно танец ее сникал, пируэты умирали, теперь она просто поспешно ходила взад и вперед и в конце концов вовсе затаилась. Она была в замешательстве, я поймал ее быстрый взгляд, брошенный на ноги, после этого она уже больше не смеялась, напротив, лицо ее помрачнело, и вот она взметнула на меня взгляд, полный ожесточенной ненависти.

Теперь пришел мой черед ликовать, и я был необъяснимо счастлив. Я чувствовал удовлетворение. Мир полон безумно смешных людей. И когда тощий бармен посмотрел в мою сторону, я подмигнул ему в знак дружеского приветствия. Он склонил голову, давая понять, что принимает мою фамильярность. Я откинулся на спинку стула с непринужденным видом.

Она не хотела подходить, но ей нужно было получить никель за кофе. Она должна была это сделать, если бы только я сам не оставил его на столе перед уходом. Но я уходить не собирался. Я ждал. Прошло полчаса. Теперь, когда она подходила к бару, чтобы забрать очередной заказ, она больше не

дождалась его у всех на виду, а скрывалась за стойкой. И на меня она больше не смотрела, но я видел, что она знает, что я наблюдаю за ней.

Наконец она направилась прямо к моему столику. Шла она гордо — подбородок вскинут, руки по швам. Я попытался смотреть ей прямо в глаза, но не выдержал и уставился куда-то вдаль, все время улыбаясь.

— Что-нибудь еще? — спросила она.

От ее белого фартука несло крахмалом.

— Это пойло вы называете кофе? — задал вопрос я.

И тут она опять рассмеялась, громко, пронзительно. Ее безумный хохот напоминал треск бьющихся тарелок, и оборвался он также неожиданно, как и начался. Тогда я снова уставился на ее обувь. И сразу почувствовал, что внутренне она готова к отступлению. Но я решил добить ее.

— Похоже, это вовсе не кофе, — начал я. — Возможно, это всего лишь вода, в которой кипятили вашу грязную обувь.

Я искал встречи с ее черными сверкающими глазами.

— Возможно, что вы просто не знаете, что существует такое понятие как вкус. Возможно, это сказывается природная легкомысленность. Но будь я девушкой, я бы ни за что не появился на Мэйн-стрит в такой обуви.

Я чуть не задохнулся, пока закончил свою речь. Ее полные губы дрожали, кулаки, спрятанные в карманы фартука, корчились от злобы.

— Ненавижу, — процедила она.

О, я чувствовал ее ненависть. Я ощущал ее аромат, я даже мог слышать, как она изливается из нее, но продолжал глумиться:

— Очень на то надеюсь, потому что есть в этом нечто прекрасное, быть удостоенным вашей ненависти.

На это она ответила весьма странно, я помню это отчетливо.

— А я надеюсь на то, что вы умрете от паралича сердца. Вот прямо на этом стуле.

Она была удовлетворена, даже несмотря на то, что я рассмеялся в ответ. Она ушла, улыбаясь. И теперь снова стояла перед стойкой бара, поджидая, пока бармен выставит ей пиво, и глаза ее были устремлены на меня, лучась каким-то странным желанием, от чего мне было не по себе, но я силился смеяться. Опять она танцевала, порхая от столика к столику с подносом в руках, и всякий раз, когда я смотрел на нее, она улыбалась, сияя своим ненормальным желанием. И вдруг я стал ощущать на себе некое таинственное влияние. Я почувствовал жизнь своих внутренних органов — биение сердца, трепыхание желудка. Я уже понял, что больше она не подойдет к моему столику, и точно помню, что остался этим доволен, и еще я помню, что какое-то жуткое беспокойство овладело мной и захотелось побыстрее убраться из этого места, подальше от ее настойчивой улыбки. Но прежде чем уйти, я кое-что сотворил, что очень меня позабавило. Я достал из кармана последние пять центов и положил их на стол. Затем вылил на монетку полчашки поданного мне пойла. Теперь она будет вынуждена убирать это своим полотенцем. Коричневая гадость растеклась по всему столу и, когда я поднялся, чтобы удалиться, закапала на пол. В дверях я приостановился глянуть на нее в последний раз. Она по-прежнему улыбалась. Я кивнул ей на кофейную лужу, затем помахал пальцами на прощанье и вышел на улицу. Душевное равновесие вернулось ко мне. Как и прежде, мир был полон забавных вещей.

Не помню, что я делал после того, как сбежал от ее улыбки. Возможно, пошел к Бенни Кохену, который жил у Центрального рынка. У Бенни была деревянная нога. В ноге небольшая дверца. За дверцей сигареты с марихуаной. Он продавал их по пятнадцать центов за косяк. Также Бенни торговал газетами «Эксземин» и «Таймс». Его комната до потолка была завалена экземплярами «Нью Мэссиз». Возможно, Бенни, как всегда, нагнал на меня тоску, рисуя мраки и ужасы, которые ожидает наш мир завтра. Возможно, он опять грозил мне своим грязным пальцем, проклиная за предательство пролетариата — класса, из которого я вышел. Возможно, как всегда, я вышел из его комнаты, спустился по пыльной лестнице на улицу, затянутую туманом, весь трепеща от негодования, с зудом в пальцах, готовый вцепиться в горло любому империалисту. Возможно, так оно и было, возможно — нет. Я не помню.

Но я помню ту ночь в своей комнате: красные и зеленые отсветы от отеля «Сант-Паул» падали на мою кровать, и я лежал в них, мечтая о гневе той девушке, о ее танце между столиков, о блеске ее черных глаз. Я помню, что забыл напрочь о том, что беден, и о своих ненаписанных рассказах.

На следующее утро я отправился на ее поиски. Было восемь утра, и я уже шел по Спринг-стрит. С собой у меня был экземпляр «Собачки». Она должна будет изменить свое мнение обо мне, когда прочитает рассказ. Журнал с автографом лежал у меня во внутреннем кармане, готовый для вручения при первом удобном случае. Но в такой ранний час бар оказался закрытым. Назывался он «Колумбийский буфет». Я уткнулся носом в окно и заглянул вовнутрь. Стулья были подняты на столы, и какой-то старик в резиновых сапогах драил шваброй пол. Я пошел вниз по улице, влажный воздух уже голубел от выхлопных газов. И тут меня озарило. Я вытащил журнал, зачиркал автограф и написал: «Принцессе Майя от жалкого гринго». Так мне показалось правильнее, соответствовало душевному настрою. Я вернулся к «Колумбийскому буфету» и забарабанил в окно. Старик открыл дверь, руки у него были мокрые, по лицу стекал пот.

— Как зовут девушку, которая здесь работает?

— Камилла, что ли?

— Та, которая работала прошлой ночью.

— Это она, Камилла Лопес.

— Не передадите ей вот это. Просто отдайте и все. Скажите, что пришел какой-то парень и попросил передать.

Старик вытер руки о передник и взял журнал.

— Позаботьтесь, пожалуйста, это очень важно.

Старик закрыл дверь. Через окно я видел, как он, бросив журнал на стойку, вернулся к работе. Легкий ветерок ворошил страницы журнала. Я шел и думал, как бы старик вовсе не позабыл о просьбе. Дойдя до Административного центра, я вдруг понял, что совершил ошибку: моя надпись на журнале не произведет никакого впечатления на такую девушку. Я поспешил назад к «Колумбийскому буфету» и постучался в окно. Пока старик возился с замком, до меня доносилось его ворчание. Открыв дверь, он смахнул пот с глаз и снова увидел меня.

— Не могли бы вы дать мне тот журнал на минутку, я хочу кое-что написать на нем.

Старик ничего не понял. Он тяжело вздохнул, замотал головой и велел мне уйти.

— Иди сам возьми, черт бы тебя побрал. Мне работать надо.

Я раскрыл журнал, разгладил страницы и зачиркал свою надпись к принцессе Майя. Вместо этого я написал:

Дорогая Изодранная Гуарача,

Ты не могла знать этого, но прошлой ночью ты оскорбила автора нижеследующего рассказа. Умеешь ли ты читать? Если да, удели пятнадцать минут своего времени и насладись шедевром. И в следующий раз будь осторожнее. Не всякий, кто заглядывает в твою забегаловку, — шваль.

Я протянул журнал старику, но он даже не посмотрел на меня.

— Передайте это мисс Лопес и проследите, чтобы она получила лично.

Старик отбросил швабру, смахнул пот с морщинистого лица и указал на дверь:

— Убирайся отсюда!

Я положил журнал обратно на стойку и неторопливо направился к выходу. В дверях я обернулся и помахал на прощание.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Голод на время отступился от меня. Под кроватью оставались еще несколько апельсинов. В тот вечер я съел три или четыре плода и с наступлением темноты спустился с Банкер-Хилл в центр города. Укрывшись в тени дверного проема прямо напротив «Колумбийского буфета», я наблюдал за Камиллой Лопес. Она была все в том же белом переднике. Я затрепетал, когда увидел ее, и странное мощное чувство сдавило мне горло. Но спустя несколько минут вся странность ушла, и я простоял в темноте, пока не заболели ноги.

Заметив полицейского,двигающегося в мою сторону, я покинул свой наблюдательный пункт. Ночь была жаркая. По городу гулял песчаный ветер с Мохаве. Каждый раз, прикасаясь к чему-либо, я чувствовал кончиками своих пальцев уколы крохотных коричневых песчинок. Вернувшись в свою комнату, я обнаружил, что механизм моей новой печатной машинки забит песком. Песок был повсюду: в ушах, волосах, одежде, он просочился даже под простыни моей кровати. Я лежал в темноте, и красный свет от отеля «Сент-Пол», но теперь с ужасным голубоватым оттенком, то врвался в мою комнату, то исчезал.

На следующее утро я уже не мог больше есть апельсины. От одной мысли о них меня выворачивало. К полудню, после бесцельных прогулок по городу, меня охватило острое чувство жалости к самому себе, я был больше не в силах справляться со своим горем. Вернувшись в отель, я рухнул на кровать и разревелся от всей души. Я позволил жалкому чувству выплеснуться всему без остатка из самых потаенных уголков моей души и когда уже больше не мог плакать, испытал облегчение. Я ощущал себя обновленным правдивым и непорочным. Я сел и написал письмо матери — честное письмо. Я рассказал ей, что соврал в прошлом письме, и попросил прислать немного денег, потому что решил вернуться домой.

Лишь я закончил писать, в комнату вошел Хеллфрик. Он был в костюме, а не в халате, и поэтому сначала я его даже не узнал. Не проронив ни слова, он прошел и выложил на стол пятнадцать центов.

— Я честный человек, малыш, — заявил он. — Я столь же честен, сколь длится божий день!

И удалился.

Я смахнул монеты со стола в ладонь, выпрыгнул в окно и помчался по улице по направлению к бакалее. Маленький японец, увидев меня, уже приготовил пакет и держал его над корзиной с апельсинами. Он был крайне удивлен, когда я пробежал мимо и влетел в бакалею. Я купил печенье, дюжину. Расположившись на кровати, я поглощал их почти не жуя, проталкивая внутрь глотками воды. Я оживал. Желудок мой был полон, и у меня еще оставался никель. Я разорвал письмо и развалился на кровати в ожидании вечера. Никель — мой пропуск в «Колумбийский буфет». Я ждал, отяжелевший от пищи и желания.

Она заметила меня еще при входе. Она была довольна, что я пришел. Точно-точно, я понял это по тому, как радостно распахнулись ее глаза. Лицо ее просияло, и снова странное чувство сдавило мне горло. Но вскоре я почувствовал себя невероятно счастливым, уверенным и осознающим свою силу и молодость. Я сел за тот же столик, что и в первый раз. В этот вечер в салуне играла музыка — скрипка и фортепиано — две толстые теткы с грубыми мужеподобными лицами и короткими стрижками. Они исполняли песенку «По волнам». Та-ди-да-да, и я наблюдал за танцующей с подносом Камиллой. Ее волосы были так черны, так густы и так плотно переплетены, что казалось, это виноградные гроздья скрывают шею Камиллы. О, этот салун был священным местом. Все здесь было святое: и стулья, и столы, и тряпка в ее руках, и опилки под ее ногами. И она была майяская принцесса, и здесь был ее замок. Я наблюдал, как изодранные гуарачи скользят по полу, и страстно желал их. Я хотел бы прижимать их к своей груди, когда ложился спать. Обнимать их во сне, дышать их ароматом.

Она не отваживалась приблизиться к моему столику, но я был только рад этому. Не подходи ко мне, Камилла, позволь посидеть здесь и привыкнуть к этому редкостному волнению, оставь одного, покуда мое сознание путешествует в стране бесконечного очарования твоей величественной красоты, предоставь меня самому себе — алкать и грезить наяву.

В конце концов она подошла, принесла чашку кофе на подносе. Точно такой же кофе — серо-буро-малиновые помои. Казалось, глаза ее были чернее и шире обычного, ступала она легко и мягко и загадочно улыбалась, так загадочно, что я думал, вот-вот грохнусь в обморок от участившегося сердцебиения. Пока она стояла рядом, я мог ощущать легкий аромат ее пота вперемешку с едким запахом накрахмаленного передника. Это меня добило, сделало совершенно невменяемым, я стал дышать через рот, чтобы спастись. А она улыбалась, давая понять, что не сердится за пролитый кофе прошлым вечером, больше того, мне показалось, что ей все это нравится, я чувствовал, что она была всему этому рада и благодарна.

— А я не знала, что у вас веснушки.

— Это ничего не меняет.

— Я извиняюсь за кофе. Обычно все заказывают пиво. На кофе у нас мало заказов.

— Это неудивительно. Мало кто захочет заказывать такую дрянь. Я бы тоже выпил пива, если бы мог позволить себе.

Тут она карандашиком указала на мою руку:

— Я вижу, вы грызете ногти. Этого не следует делать.

Спрятал руки в карманы.

— Кто вы такая, чтобы говорить, что мне делать?

— Хотите пива? Я могу вас угостить. Платить не надо.

— Вы не обязаны меня угощать. Я выпью этот псевдокофе и уйду отсюда.

Она отошла к бару и заказала пиво. Я проследил, как она расплатилась за него, вытащив горстку монет из кармана передника. Доставив пиво, она поставила его перед самым моим носом. Это меня задело.

— Убери это. Унеси обратно. Я хочу кофе, а не пиво.

Кто-то позвал ее из глубины салуна, и она поспешила на зов. Когда она нагибалась, собирая со столов пустые пивные кружки, подол юбки приподнимался чуть выше колен. Я елозил на стуле, и мои ноги ударялись обо что-то под столом. Это оказалась плевательница. А Камилла уже снова была у бара, кивала мне и улыбалась, делала знаки, которыми говорила, что я должен пить пиво. Я чувствовал в себе разгул бесовщины и ярости. Я привлек ее внимание и вылил пиво в плевательницу. Белые зубки закусали нижнюю губу, и кровь отхлынула от лица. Глаза сверкали. Радость переполняла меня, я был удовлетворен. Откинувшись на спинку стула, я улыбался в потолок.

Камилла исчезла за тонкой перегородкой, где располагалась кухня. Появилась, улыбаясь. Она что-то скрывала в руке за спиной. Тут из-за перегородки вышел старик, с которым я виделся утром. Он выжидающе улыбался. Камилла помахала мне. Что-то должно было произойти ужасное, я чувствовал приближение беды. В руке за спиной оказался маленький журнал, журнал, в котором был напечатан мой рассказ «Собачка смеялась». Она размахивала им над головой, но видеть ее спектакль могли только я и старик. Он тарачился во все глаза. У меня пересохло во рту, когда я увидел, как ее мокрые пальцы ищут страницы моей первой публикации. Губы ее

безжалостно искривились, когда она зажала журнал между колен и выдрала из него мои страницы. Она подняла их над головой, размахивая ими и улыбаясь. Старик одобрительно кивал. Улыбка на ее лице сменилась жестокой решительностью, когда она разорвала страницы на несколько частей и затем измельчила в клочья. В завершении представления она высыпала мусор сквозь пальцы в плевательницу у себя под ногами. Я пытался улыбаться. Она со скучающим видом похлопала в ладоши, словно стряхнула с них пыль, одну руку в бок, повела плечиком и удалилась. Старик постоял еще некоторое время, но так как спектакль был окончен, то и он скрылся за перегородкой.

Я сидел, несчастно улыбаясь. Мое сердце оплакивало «Собачку», каждую филигранно отточенную фразу, каждый проблеск подлинной поэзии. Мой первый рассказ, лучшее, что я мог сотворить за всю свою жизнь. В нем сосредоточилось все то хорошее, что ютилось во мне, одобренное и опубликованное великим Хэкмуттом, — и она разорвала это и бросила в плевательницу.

Я встал, отшвырнул стул и направился к выходу. Стоя у бара, она провожала меня взглядом. Ей было жаль меня, еле заметная улыбка говорила, что она сожалеет о содеянном. Но я даже не взглянул на нее и вышел на улицу, навстречу отвратительному рокоту автомобилей, и я был доволен, что шум большого города моментально похоронил меня в лавине грохота и визга. Запустив руки в карманы, я побрел прочь.

Через шагов пятьдесят позади меня послышались окрики, я обернулся. Она бежала легко и бесшумно, лишь позвякивали монетки в карманах ее передника.

— Молодой человек! — кричала она. — Паренек!

Я остановился, она подскочила и заговорила быстро и тихо, сквозь сбившееся дыхание.

— Извините меня. Я же несерьезно — честно.

— Да все нормально. И я несерьезно.

Она все время поглядывала на салун.

— Я должна идти. Они заскучают там без меня. Приходите завтра вечером, придете? Ну, пожалуйста! Я могу быть хорошей. Я очень сожалею о сегодняшнем. Пожалуйста, приходите!

Она сжала мою руку и все допытывалась:

— Вы придете?

— Возможно.

Заулыбалась.

— И простите меня?

— Конечно.

Я стоял посередине тротуара и смотрел ей вслед. Отбежав на несколько шагов, она обернулась, выпустила воздушный поцелуй и напомнила:

— Завтра вечером! Не забудьте!

— Камилла! Подождите. Одну минутку!

Мы бросились друг к другу.

— Быстрее! Меня уволят.

Я посмотрел на ее ноги. Она поняла, что сейчас произойдет и отпрянула. И тут же меня пронзило классное чувство, освежающее своей новизной, как новая кожа. И я не спеша заговорил:

— Эти гуарачи — зачем вы их носите, Камилла? Неужели нужно подчеркивать тот факт, что вы всегда были и навсегда останетесь маленькой чумазой дикаркой?

В ужасе она таранилась на меня, открыв рот. Наконец, закрыв лицо обеими руками, она кинулась бежать. Я расслышал ее стенания: «Ох, ох, ох...»

Я поиграл плечами и вальяжно двинулся дальше, насвистывая в свое удовольствие. В сточной канаве я заметил жирный окурок. Без тени стыда я подобрал его и прикурил тут же, стоя одной ногой в канаве. Глубоко затянувшись, я выпустил дым прямо к звездам. Я был американец и

чертовски гордился этим. И этот великий город, и эти просторные тротуары, и эти гордые здания — все это были голоса моей Америки. Из песка и кактусов мы — американцы — создали империю. Народ Камиллы имел свой шанс, но потерпел крах. Мы — американцы — сотворили чудо. Благодарю Бога за мою страну. Спасибо, Господи, что я рожден американцем!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я шел к своему жилищу, поднимаясь по пыльным ступеням Банкер-Хилла, вдоль темной улицы, мимо закопченных каркасных домов, мимо беспомощных пальм, заляпанных мазутом и машинной смазкой, стоявших, словно умирающие заключенные, которых приковали к крохотным клочкам земли, а ноги придавили черной мостовой. Пыль и старые здания, а за окнами старики. Старики, выползающие из дверей, старики, ковыляющие по темным улицам, старики из Индианы, Айовы и Иллинойса, из Бостона, Канзас-Сити и Де-Моин. Они продали свои дома, продали все свое имущество и на поездах, автомобилях прибыли сюда — в страну солнечного сияния, прибыли, чтобы умереть, так как денег оставалось лишь на то, чтобы сидеть и ждать, пока солнце не прикончит их. Люди срывались с родных мест, покидая чопорный блеск городов Канзас-Сити, Чикаго и Пеория, они отправлялись на поиски своего места под солнцем. Но, оказавшись здесь, они обнаружили, что опоздали, что другие и более могущественные негодяи уже вступили во владение и теперь даже солнце не принадлежит им. Смиты, Джонсоны и Паркеры — аптекари, рыбаки и пекари, еще пыль улиц Чикаго, Цинциннати и Кливленда не сошла с их ботинок, обреченные на смерть, они подписываются на «Лос-Анджелес Таймс», чтобы подпитывать свою иллюзию о здешнем рае, о том, что их дома из папье-маше — неприступные крепости. Лишенные родных корней, никчемные и удрученные, старики и молодежь пришлые люди. То были мои соотечественники — новоявленные калифорнийцы в пестрых и ярких теннисках, темных солнцезащитных очках — обитатели рая.

Но на задворках Мейн-стрит, на окраинах Тауни и Сан-Педро, милей ниже по Пятой обитали десятки тысяч других людей, которые не могли позволить себе солнцезащитные очки и пестрые футболки, и поэтому они днем скрывались по аллеям, а к ночи стекались в ночлежки. Коп не прихватит вас за бродяжничество в Лос-Анджелесе, если на вас причудливая тенниска и глаза скрыты под темными очками. Но если ботинки ваши в пыли и одеты вы

в толстый свитер, которые носят только в снежных районах страны, вас обязательно схватят. Так что приобретайте футболки, ребята, и темные очки, и еще белые штиблеты, если можете. Будьте за одно с большинством. Все равно вам никуда не деться. Со временем, после смертельных доз «Таймс» и «Экзаминер», вы со своим воплем вольетесь в общую шумиху вокруг блистательного Юга. Из года в год вы будете поглощать гамбургеры, жить в пыльных, кишасших паразитами мебелирашках, но каждое утро вас будет встречать великое солнце, вы будете видеть вечно-голубое небо над головой, истекать слюной на улицах, наводненных холеными женщинами, которыми вам никогда не обладать, и жаркие субтропические ночи будут благоухать романтикой, но только не для вас, и все равно, ребята, вы будете пребывать в раю, в краю вечного счастья.

А что до ваших земляков, так им следует врать, потому что все равно они ненавидят правду, правда им не нужна, ведь рано или поздно они тоже надеются появиться в раю. Вернувшись на родину, вам не удастся одурачить своих земляков, ребята. Уж они-то знают, что такое Южная Калифорния. В конце концов они тоже читают газеты, разглядывают картинки в журналах, которыми пестрят киоски на каждом углу по всей Америке. Они своими глазами видели дома кинозвезд на фотографиях. Так что вы ничего не можете рассказать им о Калифорнии.

Лежа в кровати и наблюдая за красными зайчиками от отеля «Сент-Пол», которые скакали по моей комнате, я думал о своих земляках, и мне было противно, сегодня я вел себя как они. Смиты, Паркеры и Джонсоны — я никогда не был одним из них. Ах, Камилла! Когда я был ребенком и жил в своем родном Колорадо, эти самые Смиты, Паркеры и Джонсоны оскорбляли меня ужасными прозвищами, называя меня и воп, и даго, и гризер, и их дети дразнили меня и унижали, так же как сегодня унижал тебя я. Они унижали меня так много, что я никогда не смогу стать одним из них. Своими нападкамии они заставили меня уйти в себя, углубиться в книги, в конце концов они вынудили меня бежать из моего родного города в Колорадо. До сих пор, Камилла, когда я вижу их лица, все оскорбления всплывают во мне снова и снова, старая боль не ушла, та же самая жестокость, те же лица, привычки, сквернословие заполняют пустоту существования здесь под неистовым солнцем.

Я вижу этих людей в вестибюлях отелей, вижу загорающих в парках, вижу возвращающихся из убогих церквей, их лица суровы от общения с их странными богами, которые обитают в их мрачных храмах.

Я наблюдал их восхищение в кинотеатрах и пустые похлопывания глаз перед лицом действительности. Они с жадностью читают «Таймс», выискивая, что произошло в мире. Меня тошнит от их газет, воротит от их литературы, от наблюдения их привычек и обычаев, от их еды, от желания к их женщинам, от их искусства. Но я беден, и моя фамилия оканчивается гласным звуком, и они ненавидят меня и моего отца, и деда и хотели бы пустить мне кровь и втоптать в грязь, но сейчас они уже стары и умирают под палящим солнцем в жаровнях пыльных дорог, а я молод и полон надежд и любви к своей стране и своему времени, и когда я оскорбляю тебя, называя чумазой дикаркой, это идет не от моего сердца, это всего лишь боль старой раны, и мне стыдно за мое ужасное поведение.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Думая об отеле Алта-Лома, я вспоминаю его обитателей. Помню свой приезд. Я вошел в темный вестибюль с двумя дорожными сумками, одна была забита экземплярами журнала с моим рассказом «Собачка смеялась». Я прибыл автобусом, весь пропылился, пыль Вайоминга, Юты и Невады въелась в мою кожу, забила волосы и уши.

— Мне нужна дешевая комната.

У домовладелицы седина выбелила волосы. Высокий и чистый воротник сидел на шее очень плотно, словно корсет. Ей было лет семьдесят, и без того высокая, она поднялась на цыпочки и разглядывала меня поверх очков.

— У вас есть работа?

— Я писатель. Смотрите, я вам сейчас покажу, — я открыл сумку и достал журнал. — Это написал я.

В те дни я был энергичен и горд.

— Я подарю вам экземпляр и подпишу его для вас.

Я подхватил со стола авторучку, но она оказалась без чернил. Окунув перо в чернильницу, я думал, что бы такое написать хорошее.

— Как вас зовут? — обратился я к хозяйке.

Она ответила неохотно:

— Миссис Харгрейвс. Зачем это?

Но я оставил ее вопрос без ответа, я уже писал посвящение: «Женщине невыразимого обаяния, с прекрасными голубыми глазами и щедрой улыбкой от автора, Артуро Бандини».

Она улыбнулась, и улыбка, казалось, разрушила ее лицо, пустив трещины по сухой коже вокруг рта и щек.

— Ненавижу про собак, — заявила она и отложила журнал, исключив его из поля зрения.

Она продолжала таращиться на меня поверх очков, которые сползли еще ниже.

— Молодой человек, вы мексиканец.

Осмотрев себя, я рассмеялся. Я — мексиканец? Нет, я американец, миссис Харгрейвс. И рассказ этот не про собаку. Он о человеке и замечателен. В нем нет ни одной собаки.

— Мексиканцев мы в отель не пускаем.

— Я не мексиканец. А название я взял из басни. Помните: «И собачка смеялась, видя такую забаву».

— И евреев тоже.

Я расписался в журнале регистрации. В те дни у меня была шикарная подпись, замысловатая, в восточном стиле, совершенно нечитабельная, с решительным и хлестким росчерком, подпись куда более сложная, чем у великого Хэкмута. В графе напротив я черкнул: «Боулдер-Сити, Колорадо».

Хозяйка принялась исследовать написанное.

Холодно:

— Как ваше имя, молодой человек?

Я был разочарован, она уже забыла, что имя автора «Собачка смеялась» напечатано крупным шрифтом в журнале. Пришлось представиться снова. Она старательно вывела мое имя под подписью и только тогда перешла к следующей надписи.

— Мистер Бандини, — подняла на меня неприветливый взгляд, — Боулдер-Сити не в Колорадо.

— А где же еще! Я только что приехал оттуда. Два дня назад я был еще там.

Но она твердо стояла на своем.

— Боулдер-Сити в Небраска. Я и мой муж проезжали через Боулдер-Сити в Небраска тридцать лет назад, когда перебирались сюда. Так что будьте любезны, перепишите.

— Но в Колорадо тоже есть Боулдер-Сити. Моя мать живет там, отец. Я ходил там в школу.

Миссис Харгрейвс достала из-под стола подаренный журнал и протянула мне.

— Этот отель не для вас, молодой человек. У нас здесь проживают достойные люди, честные.

Журнал я не взял. Я был совершенно разбит долгим путешествием на автобусе.

— Ну хорошо. Это в Небраска.

Я зачиркал Колорадо и написал Небраска. Она была удовлетворена и очень довольна мной и даже пролистала журнал.

— Так значит, вы автор. Отлично! — и снова убрала журнал. — Добро пожаловать в Калифорнию. Вам здесь понравится.

Миссис Харгрейвс! Одинокая и всеми забытая, но гордая и не сломленная. Однажды она пригласила меня в свои апартаменты на верхнем этаже. Там было как в тщательно прибранном склепе. Муж миссис Харгрейвс давно

умер, но тридцать лет назад он владел магазином инструментов в Бриджпорте, Коннектикут. Его портрет висел на стене. Благородный мужчина, который никогда не курил, не пил и умер от сердечного приступа. Узкое суровое лицо до сих пор с презрением взирало на пагубные привычки человечества. Сохранились и красного дерева кровать с пологом, в которой он умер, и его гардероб в платяном шкафу, и ботинки с загнутыми от времени носками. На камине покоилась бритвенная кружка, он всегда брился сам, и звали его Берт. Мистер Берт! Ах Берт, бывало говорила миссис Харгрейвс, ну почему ты не пойдешь к цирюльнику? А мистер Берт лишь смеялся в ответ, потому что знал, что он бреет лучше, чем обыкновенные цирюльники.

Мистер Берт всегда подымался в пять утра. Он вышел из семьи, в которой было пятнадцать детей. Это был мастер на все руки. Все ремонтные работы по отелю он всегда выполнял сам. Три недели ушло у него, чтобы выкрасить снаружи здание отеля. И как обычно он был уверен, что сделал это квалифицированной, чем любой другой маляр. Два часа она говорила о своем Берте. Боже мой, как она любила этого человека! Даже после его смерти. И он не покидал ее. Его дух присутствовал в апартаментах, наблюдал за ней, защищал ее, предостерегал меня, чтобы я не травмировал ее. Он так запугал меня, что мне захотелось сбежать. Но мы пили чай. Заварка была несвежей и сахар старый, слипшийся в комки. В пыльных чашках чай, казалось, обладал привкусом старости, а высохшее печенье отдавало смертью. Когда я собрался уходить, Берт проследовал за мной в холл, и я даже не посмел подпустить иронии, думая о нем. Две ночи преследовал он меня, все запугивал и донимал насчет курения.

Еще помню паренька из Мемфиса. Не знаю его имени, не спрашивал, а он не спрашивал моего. Мы просто говорили друг другу: «Привет». Он пробыл в отеле недолго, всего несколько недель. Сидя на террасе, он всегда прикрывал прыщавое лицо руками, невероятно длинными. Каждый вечер он просиживал там допоздна — до двенадцати, до часу, а то и до двух. И возвращаясь домой, я находил его раскачивающимся в плетеном кресле, нервные пальцы пробегали по лицу, смахивая черные нестриженные волосы.

— Привет.

— Привет.

Неугомонная пыль Лос-Анджелеса будоражила и возбуждала его. Он был странник похлеще меня, целыми днями напролет слонялся по паркам в поисках любовных извращений. Но он был так уродлив, что никто не откликнулся на его похотливые взгляды. И потом он просиживал на террасе до рассвета, терзаемый теплыми звездными ночами и желтой луной.

Однажды ночью он разоткровенничался со мной, чем вверх в тошнотворное отвращение. Он упивался воспоминаниями о своем житие в Мемфисе, где остались его друзья, говорил, что надеется скоро вернуться туда, где дружба что-то значит. И вскоре он исчез, и я получил открытку за подписью «Дитя Мемфиса» из Форт-Уорта, штат Техас.

Был еще господин Хейлмен, член книжного клуба «Манс». Огромный мужик, с ручищами как бревна и крепкими ногами в обтягивающих брюках. Он служил кассиром в банке. Его жена жила в Молине, а сын учился в Чикагском университете. Хейлмен ненавидел Юго-Запад, ненависть даже деформировала его лицо, но по причине слабого здоровья он был обречен оставаться здесь. Остаться или умереть. Все западное он высмеивал. Болезнь его обострялась после каждого межрайонного футбольного матча, когда Восток терпел поражение. Он фыркал и плевался, если вы упоминали «Троянцев». Он ненавидел солнце, проклинал туман, обвинял дождь и мечтал о снегах Среднего Запада. Один раз в месяц в его почтовом отсеке появлялся большой сверток. Я видел Хейлмена в вестибюле, всегда читающего новые книги. Мне он их не давал.

— Дело принципа, — аргументировал член клуба.

Но регулярно подсовывал в мой почтовый отсек «Манс Ньюс» — маленький рекламный журнальчик о книжных новинках.

Еще помню рыжеволосую девушку из Сент-Луиса. Она интересовалась филиппинцами. А где они живут? Сколько их там? Знаю ли я кого-нибудь из них? Худощавая рыжеволосая девушка, в вырезе ее платья были видны коричневые веснушки. Девушка из Сент-Луиса всегда одевалась во все зеленое, ее медная голова поражала своей красотой, ее глаза были слишком серые для такого прекрасного лица. Она работала в прачечной, но там так мало платили, что ей пришлось уволиться. Она тоже странствовала по теплым улицам. Один раз она одолжила мне четвертной, другой раз почтовые марки. Бесконечно она говорила о филиппинцах, жалела их, восхищалась их мужеством перед лицом предубеждений. Однажды она

пропала, и на следующий день я увидел ее на улице, медная голова искрилась солнечными бликами, под руку ее вел низкорослый филиппинец. Он был очень горд. Его костюм с накладными плечами и зауженной талией были образцом доведенной до абсурда пошлой моды, и даже несмотря на высокие каблуки, он был на фут ниже рыжеволосой из Сент-Луиса.

Из всех обитателей отеля лишь один оценил «Собачка смеялась». В первые дни после приезда я подписал несколько экземпляров и отнес их наверх в комнату ожидания и отдыха. Пять или шесть журналов я разложил на самых видных местах, на библиотечном столике, на диване и даже в глубоких кожаных креслах, так что если кто захотел бы сесть, он обязательно поднял бы журнал. Никто не прочитал ни строчки, ни одна душа, кроме одной. Целую неделю журналы мозолили всем глаза, но никто не прикоснулся к ним. Даже после того, как уборщик-японец прибирал комнату, они оставались лежать на своих местах. По вечерам там собирались старые постояльцы поиграть в бридж, поговорить и расслабиться. Я вошел незамеченным, нашел свободный стул, сел и стал наблюдать. Зрелище, навевающее уныние. Одна здоровая тетка уселась в кресло прямо на журнал, не удосужившись даже убрать его. В конце концов японец собрал их и сложил аккуратной стопкой на библиотечном столике, где они продолжали пылиться. Периодически я обтирал их носовым платком и раскладывал по комнате. И всегда они возвращались аккуратной стопочкой на библиотечный столик нетронутыми. Возможно, постояльцы знали, что мой рассказ напечатан в этом журнале, и преднамеренно игнорировали его. А возможно, им было просто наплевать. Даже Хеймену, великому читателю. Даже домовладелице. Я разводил руками: они слишком глупы, все до единого. Ведь рассказ-то был об их родном Среднем Западе, о Колорадо с его снежными бурями, а они с выкорчеванными душами, опаленными лицами погибали в знойной пустыне, тогда как их прохладная родина была совсем рядом, под рукой, на страницах маленького журнала. Ну что ж, думал я, ведь то же самое было и с По, Уитманом, Гейне, Драйзером, а теперь вот с Бандини. И думая об этом, я уже не был так оскорблен и не чувствовал себя одиноким.

Имя человека, который оценил мой рассказ, было Джуди, а фамилия Пэлмер. Кто-то постучался ко мне после обеда, я открыл дверь и увидел ее. В руках она держала журнал. Ей было всего-навсего четырнадцать — завитки каштановых волос и красная лента, повязанная бантиком чуть выше лба.

— Вы мистер Бандини?

По ее глазам я понял, что она прочитала «Собачка смеялась». Я понял это мгновенно.

— Вы прочитали мой рассказ? И как, вам понравилось?

Прижимая журнал к груди, она улыбнулась:

— Я думаю, он прекрасен. О, это так здорово! Миссис Харгрейвс сказала, что это вы написали. И еще она сказала, что вы можете подарить мне экземпляр.

Сердце заклокотало у меня в горле.

— Входите! Пожалуйста! Садитесь! Как ваше имя? Конечно, вы получите экземпляр. Обязательно! Только зайдите!

Я заметался по комнате, выбирая стул получше. Она села с таким изяществом. Платице, совсем еще детское, скрывало ее колени.

— Хотите воды? Сегодня так жарко. Вас, наверное, мучит жажда.

Но она отказалась. Она нервничала. Я видел, что напугал ее, и старался вести себя вежливее, мне не хотелось, чтобы она ушла. В те дни у меня еще оставались кое-какие деньги.

— А хотите мороженого? Или я угощу вас молочным коктейлем?

— Я не могу, мама будет сердиться.

— Вы тоже здесь живете? А ваша мама, она прочитала мой рассказ? Да, как ваше имя? Мое имя, надеюсь, вы уже знаете? Я — Артуро Бандини.

И я гордо улыбнулся.

— О, да!

Дыхание ее заволновалось, и глаза расширились от восторга, так что мне захотелось броситься к ее ногам и заплакать. Я чувствовал щекотание в горле — позыв к рыданиям.

— Точно не желаете мороженого?

Она была очень трогательная, сидела, склонив розовый подбородок и прижимая журнал крохотными ручками.

— Нет, спасибо, мистер Бандини.

— Может быть колы?

— Спасибо, нет.

— Рутбир?

— Пожалуйста, не беспокойтесь.

— Ну, как же вас зовут? Меня... — и осекся.

— Джуди.

— Джуди! Джуди! Джуди! Прекрасно! Как имя звезды. Это самое чудесное имя, которое я когда либо слышал!

— Спасибо.

Я открыл платяной шкаф, в котором хранил журналы. В запасе у меня еще оставалось штук пятнадцать.

— Я подпишу вам. Что-нибудь хорошее, специально для вас.

Ее лицо вспыхнуло восхищением. Эта маленькая девочка не притворялась, она действительно была взволнована, и ее искренняя радость, словно прохладный поток воды, струилась на меня.

— Я дам вам два экземпляра и оба подпишу!

— Вы настоящий мужчина, — сказала она, наблюдая, как я открываю бутылочку с чернилами. — Я поняла это по вашему рассказу.

— Ну, я не совсем еще мужчина. Я не намного старше вас, Джуди.

Мне не хотелось выглядеть стариком перед ней. Я старался молодиться, насколько это возможно.

— Мне всего лишь восемнадцать, — соврал я.

— Всего?

Она была явно изумлена.

— Ну, будет девятнадцать через пару месяцев.

Я написал в оба журнала что-то приятное. Не помню дословно, но это было неплохо, то, что я писал, шло от самого сердца, потому что я был очень ей благодарен. Но мне не хотелось ее отпускать, хотелось слушать ее голос, такой тихий и почти бездыханный, хотелось задержать ее в моей комнате настолько это возможно.

— Знаете, вы бы оказали мне большую честь, вы бы просто осчастливили меня, Джуди, если бы согласились почитать мой рассказ вслух. Я никогда не слышал, как он звучит.

— Я с удовольствием почитаю! — и она вся вытянулась с пылким рвением.

Бросившись на кровать, я уткнулся в подушку. И юная девушка стала читать мягким и нежным голосом, и я расплакался после нескольких предложений. Это было как во сне, ангельский голос заполнил всю комнату, но вскоре и она начала всхлипывать, время от времени прерывая чтение, сглатывая слезы и протестуя:

— Я больше не могу читать, не могу...

Повернувшись к ней, я молил ее:

— Но вы должны дочитать, Джуди. О, прошу вас, довершите!

И в тот момент, когда мы достигли пика нашего эмоционального всплеска, высокая, с ожесточенным лицом женщина неожиданно, без стука ворвалась в мою комнату. Без сомнения, это была мать Джуди. Свирепые глаза изучили меня, затем перекинулись на Джуди. Не проронив ни слова, она взяла дочь за руку и поволокла прочь. Девчушка, прижимая журналы к слабой груди, моргнула мне заплаканными глазами на прощанье. Она исчезла так же неожиданно, как и появилась. И больше я ее никогда не видел. Их исчезновение осталось загадкой и для миссис Харгрейвс, они съехали в тот же день, даже не пожелали переночевать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Письмо от Хэкмута. Оно было в почтовом ящике. Я знал, что письмо от него. Я мог сказать это еще за милю.

Я просто чувствовал его, словно бы по спинному хребту скользнул кусочек льда. Миссис Харгрейвс протянула мне конверт, и я просто выхватил его из ее рук.

— Хорошие новости? — поинтересовалась хозяйка, ведь я задолжал ей кучу денег.

— Нельзя сказать ничего определенного. Но это письмо от великого человека. Он может прислать пустой лист, и это будет хорошей новостью для меня.

Но я знал, что хороших новостей в том смысле, в каком подразумевала миссис Харгрейвс, в этом письме быть не могло, я не посылал всемогущему Хэкмуту рукописей. Это был ответ на мое длиннущее письмо, посланное несколько дней назад. Он был очень проворный, этот Хэкмут. Он просто ослеплял своей быстротой. Вы не успевали опустить письмо в почтовый ящик на углу квартала, как по возвращению в отель вас уже ожидал ответ. Но, боже мой, как его письма были кратки. В ответ на мои сорок страниц всего-навсего маленький абзац. Правда, в этом-то и заключалась их прелесть, потому что его ответы были просты, доходчивы и легко запоминались. Он знал свое дело, этот Хэкмут. У него был свой стиль. Как много он мог дать! Даже его запятые, его точка с запятой исполняли свой особый танец. Обычно я осторожно сдирал с конверта марки и проверял, не было ли под ними чего.

Я сел на кровать и развернул лист. На нем было очередное краткое сообщение, не больше пятидесяти слов. Оно гласило:

Дорогой мистер Бандини,

С вашего разрешения, я хочу исключить приветствие и прощальные слова из вашего длинного письма и напечатать его в журнале как рассказ. Мне кажется, вы прекрасно потрудились. Я думаю, «Давно утраченные холмы» послужит неплохим названием. Чек прилагается.

Листок выскользнул у меня из рук и, выписав пару кругов, приземлился на пол. Я встал. Глянул в зеркало. Мой рот был открыт. Я отошел к портрету

Хэкмута на противоположной стене и ощупал пальцами строгое лицо, смотревшее прямо на меня. Затем я поднял письмо и перечитал. Перечитав, открыл окно, выпрыгнул наружу и рухнул на сочную траву склона. Мои пальцы терзали траву, я открыл рот и впился зубами в землю, я выдирали пучок за пучком. Наконец я разревелся. О, Господи, Хэкмут! Ну, как можно быть таким необыкновенным человеком? Как вообще это возможно? Наревевшись, я забрался обратно в комнату и отыскал в конверте чек. Чек на 175 долларов! Я снова был богат. 175! Артуро Бандини — автор рассказов «Собачка смеялась» и «Давно утраченные холмы».

И снова я стоял перед зеркалом и грозил кулаком. Эй вы люди, я здесь! Посмотрите на великого писателя! Вглядитесь в мои глаза, люди. Глаза великого писателя! Обратите внимания на мой подбородок, люди. Подбородок бессмертного автора. Рассмотрите эти руки, ребята. Руки, которые создали «Собачка смеялась» и «Давно утраченные холмы». Я погрозил указательным пальцем. А что касается вас, Камилла Лопес, то я хочу видеть вас сегодня же вечером. Я желаю поговорить с вами, Камилла Лопес. И я предупреждаю вас, Камилла Лопес, что вы имеете дело не с кем-нибудь, а с Артуро Бандини, писателем. Запомните это, будьте так любезны.

Миссис Харгрейвс разменяла мой чек. Я погасил задолженность и оплатил ренту за два месяца вперед. Она выписала мне квитанцию, но я отмахнулся:

— Пожалуйста, не беспокойтесь, миссис Харгрейвс. Я доверяю вам целиком и полностью.

Но она настаивала, и я сунул квитанцию в карман. Затем достал пять долларов и положил ей на стол.

— Это вам, миссис Харгрейвс, за то, что вы были так терпеливы.

Теперь запротестовала она.

— Не смешите! — и протянула деньги обратно.

Я не взял и направился к выходу, она выскочила за мной на улицу.

— Мистер Бандини, я требую, чтобы вы забрали эти деньги.

Фи, какие-то пять долларов — пустяк. Я замотал головой:

— Миссис Харгрейвс, я категорически отказываюсь брать их.

Мы спорили и торговались, стоя под палящим солнцем посередине тротуара. Она была непреклонна. Она требовала забрать деньги. Я снисходительно улыбался.

— Мне очень жаль, миссис Харгрейвс, но я никогда не меняю своих решений.

Она ушла бледная от гнева, держа пятидолларовую купюру между пальцев, словно несла за хвост дохлую мышь. Я стоял и качал головой. Пять долларов! Из-за каких-то ничтожных грошей беспокоить Артуро Бандини, плодовитого автора великого редактора Хэкмута.

Я направился в центр города, пробиваясь через раскаленные тесные улицы к магазину «Май». Это был лучший костюм, который я когда-либо покупал, в коричневую полоску и с двумя парами штанов. Теперь я всегда мог быть прилично одет. Еще я купил двухцветные ботинки — бело-коричневые, несколько рубашек, кучу носков и шляпу. Моя первая шляпа — темно-коричневая, настоящий фетр на шелковой подкладке. Штаны требовали доработки, и я попросил продавцов поторопиться. Все было готово моментально. За занавеской кабинки я облачился во все новое, завершив переодевание водружением шляпы. Мою старую одежку клерк упаковал в коробку, но я отказался забирать ее. Я распорядился, чтобы они вызвали «Армию спасения» и отдали ее им, а остальные мои покупки доставили в отель. На пути к выходу я приобрел две пары солнцезащитных очков. Остаток дня я убил, приобретая разные мелочи. Купил сигарет, леденцов и цукатов. Затем две пачки дорогой бумаги, резиновых ластиков, скрепок, блокнот, маленький шкафчик-регистратор и дырокол. К этому присовокупил недорогие часы, настольную лампу, расческу, зубную щетку и пасту, лосьон для волос, крем для бритья, лосьон для лица и аптечку. Заглянув в галантерейную лавку, я пополнил свой багаж парочкой галстуков, новым ремнем, цепочкой для часов, носовыми платками, халатом и шлепанцами. Наступил вечер, я уже больше не мог тащить накупленное. Взял такси и поехал в отель.

Я утомился. Пот просачивался сквозь мой новый костюм и стекал по ногам до самых лодыжек. Но это была приятная усталость.

Я принял душ, смягчил кожу лосьоном, вычистил зубы новой щеткой и свежей пастой. Затем побрился, используя купленный крем и наконец

уложил волосы, смочив их лосьоном. Некоторое время я расхаживал по комнате в халате и сланцах, раскладывая свои новые письменные принадлежности и покуривая хорошие ароматные сигареты. Да, еще я поглощал леденцы.

Курьер из магазина принес большую коробку с остальными покупками. Открыв ее, я обнаружил не только новые вещи, но и мое старое шмотье. Его я засунул в мусорную корзину. Пришло время снова одеваться. Все по очереди: новые трусы, первосортная сорочка, носки и брюки. Затем: галстук, ботинки и пиджак. Встав перед зеркалом, я надел шляпу, сдвинул ее слегка на один глаз и исследовал результат. Отражение было мне знакомо, но лишь смутно. Сначала мне не понравился галстук, я скинул пиджак и повязал другой. Но и замена меня не устроила. Внезапно я почувствовал раздражение на все остальное. Жесткий воротничок душил, ботинки давили, штаны источали запах одежного магазина и были слишком узки в промежности. С висков заструился пот, шляпа слишком сильно стискивала череп. По всему телу пошел зуд, а когда я попробовал подвигаться, одежда зашуршала, словно бумажный пакет. Мой нюх уловил резкое зловоние лосьонов, я поморщился. Черт возьми, что же стряслось с прежним Бандини, автором рассказа «Собачка смеялась»? Разве мог этот разряженный, полузадушенный клоун создать такое произведение, как «Давно утраченные холмы»? Я скинул все с себя, смыл запахи с кожи и волос и влез в старую одежду. Она была рада принять меня обратно и льнула к телу со сдержанным восхищением, а мои истерзанные ноги с легкостью скользнули в старые ботинки, как будто в мягкую весеннюю траву.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Я отправился в «Колумбийский буфет» на такси. Водитель подрулил к самому краю тротуара и остановил прямо напротив открытой двери. Я вылез и протянул ему двадцатидолларовую купюру. У него не оказалось сдачи. Я был только рад этому, потому что пока я искал купюру помельче в дверях появилась Камилла. Нечасто к дверям «Колумбийского буфета» подкатывало такси. Небрежно кивнув, я прошел в салун и сел за свой столик. Я перечитывал послание Хэкмута, пока она пыталась заговорить со мной.

— Вы сердитесь на меня?

— С чего бы это?

Она заложила руки за спину и опустила взгляд себе под ноги.

— Ничего не замечаете?

На ней были новые белые туфли-лодочки высокоом каблуке.

— Они очень симпатичные, — я мельком взглянул на обнову и снова обратился к чтению.

Она смотрела на меня, надув губы.

— Извини, дела, — проронил я.

— Будете что-нибудь заказывать?

— Сигару, желательнo из Гаваны.

Она сходила и принесла коробку.

— Четвертак.

Усмехнувшись, я выложил доллар.

— Сдачу оставь себе.

— Только не от вас. Вы бедный.

— Раньше был.

Раскури в сигару, я развалился на стуле и, уставившись в потолок, стал пускать кольца.

— Неплохая сигара за такие деньги.

Женский дуэт в глубине салуна наяривал «По волнам». Я поморщился и подвинул сдачу с сигары Камилле.

— Скажи им, пусть сыграют Штрауса. Что-нибудь из «Венского цикла».

Камилла взяла лишь двадцать пять центов, но я заставил ее забрать и остальные. Музыкантши были ошеломлены. Камилла указала им на меня. Они замахали руками, сияя от радости. Я с достоинством кивнул. Толстухи затянули «Сказки венского леса». Было видно, что новые туфли причинили Камилле боль.

В ее движениях не было прежней легкости и живости. Она морщилась с каждым шагом и стискивала зубы.

— Хотите пива?

— Хочу скотч «хайбол». «Сент-Джеймс», желательно.

Она переговорила с барменом и вернулась.

— У нас нет «Сент-Джеймс», но можем предложить «Баллантайн». Дорогой. Сорок центов.

Я заказал себе и обоим барменам.

— Не следует так сорить деньгами, — упрекнула она.

Я принял тост от барменов и пригубил свой «хайбол». Лицо мое искривилось.

— Сивуха.

Она стояла рядом, запустив руки в карманы передника.

— Я думала, вам понравятся мои туфли.

— Выглядят прилично, — вскользь отметил я, возвращаясь к чтению письма.

Камилла похромала к освободившемуся столику и принялась собирать пустые кружки. Она была обижена, лицо ее вытянулось и выглядело печальным. Я потягивал скотч, читал и перечитывал послание Хэкута. Вскоре она вернулась к моему столику.

— Вы изменились. Совсем другой. Но раньше вы мне нравились больше.

Я улыбнулся и погладил ее руку. Она была теплая, гладкая, смуглая, с длинными пальцами.

— Моя мексиканская принцесса, ты такая очаровательная и чистая.

Она отдернула руку, и лицо ее побледнело.

— Я не мексиканка! Я американка!

— Нет, — покачал я головой, — для меня ты всегда будешь маленькой крестьянкой, нежным цветком из доброй старой Мексики.

— А ты даго, сукин сын!

В глазах у меня потемнело, но я продолжал улыбаться. Камилла кинулась прочь, неразношенные туфли сдерживали ее сердитый шаг. Мне было больно, где-то глубоко внутри, и моя улыбка выглядела, словно пригвожденная к губам. Камилла остановилась у столика возле музыкантш и принялась вытирать его, ее рука с тряпкой выписывали неистовые круги, а лицо было подобно темному пламени. Когда она бросала на меня взгляд, ненависть из ее глаз пронзала комнату, словно выпущенная стрела. Письмо Хэкута больше не интересовало меня. Положив листок в карман, я сидел с поникшей головой. Это было чувство из недалекого прошлого, я пустился по его следам и припомнил, как испытывал то же самое, когда сидел здесь в первый раз с единственным даймом в кармане. Камилла скрылась за перегородкой. Появившись вновь, она уже двигалась легко и изящно, ступая свободно и уверенно. Девушка скинула туфли и надела старые гуарачи.

— Извини.

— Нет что ты, это моя вина, Камилла.

— Я не хотела этого говорить.

— Ты была права. Я сам виноват.

Я посмотрел на ее ноги.

— Те белые туфли очень красивые. Они совершенно подходят к твоим великолепным ножкам.

Она запустила пальцы в мои волосы, и тепло ее благодарности полилось в меня. Дыхание мое сбилось, и совершеннейшее счастье разлилось по всему телу.

Камилла снова юркнула за перегородку и вышла в белых туфлях. Маленький мускул на скулах реагировал на каждый болезненный шаг, но она мужественно улыбалась. Я наблюдал, как Камилла работает, и это созерцание подняло меня со дна и внушило чувство непотопляемости, словно бы я был маслом на поверхности воды. Потом она спросила, есть ли у меня

машина. Я сказал, что нет. Оказалось, что у нее был автомобиль. Он находился неподалеку на стоянке. Она описала его, и мы условились встретиться возле него и вместе поехать на пляж. Когда я поднялся, чтобы уйти, тощий бармен с бледным лицом посмотрел на меня с еле уловимой злостью. Я проигнорировал его выпад.

У Камиллы был «форд» 1929 года — родстер с торчащими конскими волосами из-под обивки сидений, помятыми бамперами и без накидного верха. Я забрался в машину и стал дурачиться с рычагами управления. Изучив свидетельство владельца, я выяснил, что машина принадлежала Камилле Ломбард, а вовсе не Камилле Лопес.

Она была не одна, когда появилась на стоянке, но безлунная ночь и пелена тумана не позволили мне разглядеть, кто же шел рядом. Они приблизились, и я узнал тощего бармена. Камилла представила нас. Его звали Сэмми, он был тих и пассивен. Мы повезли его домой, вниз по Спринг-стрит до Первой, затем через железную дорогу в «черный» район, пустынные улицы подхватывали грохот «форда» и размножали бесчисленным эхом между грязными каркасными домами и перекошенными частоколами. Сэмми вышел возле увядающего перечного дерева, и мы слышали, как шипела мертвая листва под его ногами, пока он шел к своему крыльцу.

— Он кто тебе?

Просто друг, сказала она, и еще добавила, что не хочет говорить о нем. И все же она была обеспокоена. В ее взгляде читалась озабоченность, какая бывает у людей, встревоженных о здоровье своего близкого. Это меня насторожило, неожиданно я почувствовал ревность. Я продолжал аккуратно расспрашивать ее, и то, как она отвечала, усугубило мое чувство. Мы снова переехали через пути и мчались по центру города. Она не останавливалась на красный свет светофора, если не было машин поблизости. Если же кто попадался на ее пути, она начинала беспрестанно давить на визгливый клаксон. Звук, вырывающийся из рожка, разносился по ущелью пустынных улиц, словно истошный крик о помощи. Она давила на клаксон и без всякой надобности. Один раз я сделал ей замечание, но она проигнорировала его.

— Я веду машину!

Мы выехали на автостраду Вилшир, где минимальная скорость движения была тридцать пять миль. Ее «форд» не мог развивать такую скорость, но она не съезжала со средней полосы, и быстроходные автомобили проносились

мимо нас, как пули. Водители были в бешенстве, а она грозила им кулаком. Проехав так мило, Камиллу забеспокоили ноги и она попросила меня подержать руль. Пока я держал, она сняла туфли. Приняв управление, она прибавила газу, а одну ногу выставила из салона. Платье стало раздуваться и хлестать ее по лицу. Она подоткнула его под себя, и теперь коричневые бедра были выставлены всем на обозрение аж до розовых трусиков. Зрелище имело успех. Пролетающие мимо авто резко притормаживали, из них высовывались головы и таращились на ее голые ноги. Она сердилась и орала на зрителей, чтобы они занимались своими делами. Я сидел рядом, склонив голову, и пытался наслаждаться сигаретой, которая тлела слишком быстро на встречном ветру.

Мы подкатили к светофору на перекрестке Вилшир и Вестерн. Это был очень оживленный перекресток: кинотеатры, ночные клубы, магазины притягивали людей, улицы были заполнены пешеходами. Проскочить светофор было невозможно, слишком много машин стояло перед нами. Камилла с нетерпением ожидала, пока загорится зеленый, нервно покачивая ногой. И снова на нас стали обращать внимание, рожки весело сигналили, а стоявший позади экстравагантный родстер с озорным клаксоном был настойчивее всех. Камилла обернулась, глаза ее сверкали гневом, она выставила кулак и погрозила галдевшей в родстере компании студентов. Теперь уже все глаза были направлены на нас, все улыбались. Я толкнул ее в бок.

— Уймись хотя бы на светофорах.

— Заткнись!

Я достал послание Хэкута и попытался найти убежище в нем. Бульвар был хорошо освещен, но «форд» взбрыкивал как мул, грохотал и дергался, да еще ветер трепал листок Камилла гордилась своей машиной.

— У нее хороший двигатель.

— Да, чисто работает, — поддакнул я, цепляясь за ручку, чтобы сохранить равновесие.

— Неплохо бы и тебе завести машину.

Я поинтересовался насчет Камиллы Ломбард, вписанной в сертификат владельца. Не была ли она замужем?

— Нет.

— А почему Ломбард?

— Для смеха. Иногда помогает в работе.

Я не понял.

— Вот тебе нравится твое имя? Не хотел бы зваться Джонсон или Вильямс, ну, что-то в этом роде?

Я сказал, что вполне удовлетворен своим именем.

— Нет, не удовлетворен, я знаю.

— Удовлетворен!

— Нет.

После Беверли-Хилз туман рассеялся. Стоявшие вдоль дороги пальмы зеленели в синеватых сумерках, а белая разделительная полоса бежала впереди нас, словно горящий бикфордов шнур. В беззвездном небе метались малочисленные облака. Мы катили по пологим холмам. По обе стороны дороги мелькали высокие изгороди, увитые лозами винограда, дикие пальмы и кипарисы.

Не проронив ни слова, мы добрались до береговых скал и поехали по гребню высоких утесов, открывающих вид на океан. Ударил прохладный ветер. Ветхий драндулет покачивало. Снизу доносился рев океана. Легкая дымка насадала на берег, подобно армии призраков, выползающих на животах из воды. Буруны набрасывались на прибрежный песок с белыми кулаками и отступали, чтобы накинуться с новой силой. Но как только они отступали, береговая линия широко улыбалась им вслед. Мы лихо скатились вниз по извилистой дороге. Черный тротуар покрылся испариной от лижущих языков тумана. Воздух был удивительно свеж, и мы с удовольствием вдыхали его. Здесь вовсе не было пыли.

Камилла повела автомобиль вдоль берега по бесконечной полосе белого песка. Мы сидели и смотрели на океан. У подножья скал было тепло. Она коснулась моей руки.

— Научишь меня плавать?

— Только не здесь.

Волны были слишком высокие и набегали очень быстро. Откатываясь ярдов на сто, они вздымались и неслись в полный рост к берегу. Мы наблюдали, как они разбиваются о песок — пенящийся ком взрывался подобно грому.

— Учиться лучше в спокойной воде.

Она рассмеялась и стала раздеваться. Я увидел ее коричневое тело, но это был его натуральный цвет, а не загар. Я был весь белый, словно призрак. Внизу живота нарастал ком тяжести, я сдерживал себя и старался скрыть возбуждение. Она разглядывала мою белизну, мои бедра, ягодицы, ноги и улыбалась. Я вздохнул с облегчением, когда она пошла к воде.

Песок был мягкий и теплый. Мы уселись лицом к океану и разговорились о плавании. Я показал ей основные движения. Камилла тоже легла на живот и стала грести руками и брыкать ногами. Песок летел ей в лицо, и она повторяла мои упражнения без особого энтузиазма.

— Мне не нравится учиться, — заявила она, усаживаясь.

Взявшись за руки, мы вошли в воду, наши животы были заляпаны песком. Сначала вода показалась холодной, но потом — в самый раз. Это было мое первое погружение в океан. Я боролся с волнами, пока не зашел по плечи, затем попробовал поплыть. Волны раскачивали меня и плескались в лицо, я попробовал подныривать под набегающие буруны. Теперь они проходили надо мной, не причиняя вреда. Я запомнил. Когда появлялась особенно большая волна, я бросался на ее гребень, и поток увлекал меня к берегу.

Я не выпускал из вида Камиллу. Она заходила в воду по колена, но, завидев надвигающуюся волну, с воплями восхищения бросалась к берегу, затем возвращалась. Одна волна настигла ее, Камилла завизжала и исчезла под водой. Через мгновение она вынырнула, смеясь и вопя от удовольствия. Я заорал, чтобы не смела так рисковать, но она уже шла, пошатываясь, навстречу вздымающемуся буруну, который обрушился на нее и поглотил. Я видел лишь, как она кувыркалась в пенящейся воде, словно опрокинутая корзина с бананами. Наконец она выбралась на берег, тело ее блестело, руки теребили волосы. Я плавал до тех пор, пока не устал, затем выбрался из воды. Глаза щипало от соли.

Я развалился на леске, переводя дух. Через несколько минут силы вернулись ко мне, я сел и почувствовал желание выкурить сигарету. Не видя Камиллы поблизости, я пошел к машине, надеясь, что она там. Но и у «форда» ее не было. Тогда я бегом вернулся к воде и нашел лишь пенящийся беспорядок. Я позвал ее.

В ответ раздался крик. Он доносился издалека, поверх прибоя, из туманной дымки, застилающей волнующуюся поверхность океана. Мне показалось, добрая сотня ярдов. «На помощь!» — послышалось снова. Я бросился в воду и поплыл. Я быстро потерял ее голос в реве океана. «Я иду!» — орал я снова и снова, пока не понял, что это отнимает у меня слишком много сил. С крупными волнами я справлялся легко, подныривая под них, но вот мелкая волна меня достала. Вода хлестала по лицу и не давала дышать, она просто душила меня. Наконец я выбрался в чистые воды. Мелкая волна продолжала плескаться мне в рот. Крики Камиллы прекратились. Я вертелся в воде на одном месте, ожидая призыва. Но его не было. Тогда заорал я. Мой голос прозвучал слабо, словно из-под воды.

Внезапно силы стали покидать меня. Мелкие волны замордовали окончательно. Я наглотался воды и уже не мог держаться на поверхности. Я и молился, и выл, и лупил этот океан, хотя и признавал, что не следует так расходовать последние силы. Вдали раздавался шум прибоя. Я закричал, прислушался и снова позвал. Но в ответ услышал только плеск ряби и бултыханье своих рук. И тут что-то случилось с моей правой ногой, вернее с ее пальцами. Они будто бы застопорились. Я работал ногами, и боль простреливала до бедра. Я хотел жить. Господи, не забирай меня сейчас! Я поплыл на шум прибоя.

Вскоре я почувствовал, что снова оказался в зоне больших волн, я слышал их нарастающий гул. Но было уже слишком поздно, так мне показалось. Я уже не мог дальше плыть, руки мои не поднимались, боль в правой ноге была жуткой. Дышать — это все, на что я был способен. Волна подхватила меня, увлекла под воду и покатила по дну. Итак, это был конец Камиллы и Артуро Бандини. Но даже при таких обстоятельствах я мысленно записывал все происходящее. Я видел, как слова ложатся на бумагу, выбиваемые печатной машинкой. Я продолжал писать, кувыркаясь по острому песку, в совершенной уверенности, что живым мне отсюда не выбраться. Когда волна отступила, оказалось, что вода мне по пояс. Но я уже был так далек от всего этого, мое сознание работало над созданием цельного произведения. Продолжая беспомощно барахтаться, я больше заботился о предельной

точности используемых прилагательных. Следующая волна вышвырнула меня на мелководье, я встал на четвереньки и пополз на сушу, задаваясь вопросом, возможно ли из всего этого сотворить поэму. Уже лежа на берегу, я подумал о том, что Камиллы больше нет и разрыдался, попутно отметив, что мои слезы гораздо солонее морской воды. Но я не мог больше лежать, я должен был позвать кого-нибудь на помощь. Я поднялся и прихрамывая побрел к автомобилю. Я так замерз, что у меня зуб на зуб не попадал.

Пройдя несколько шагов, я обернулся. В футах пятидесяти от меня по пояс в воде пробиралась к берегу Камилла. Она хохотала, она просто задыхалась от смеха, наверное, это была лучшая шутка, сыгранная ею, и когда я увидел, как она с легкостью и изяществом морского котика нырнула в набегающую волну, я подумал, что это уж вовсе не смешно.

Я двинулся ей навстречу, ощущая, как с каждым шагом силы мои возвращаются. Я поймал ее, водрузил на плечи, затем, не обращая внимания на крики, царапанье, выдиранье волос, поднял так высоко насколько хватило силы в руках и швырнул в небольшую лужу на берегу. От удара у нее перехватило дыхание. Я подскочил, схватил обеими руками ее за волосы и ткнул лицом в грязный песок. Я оставил ее в луже, ползающую на четвереньках, плачущую и причитающую, а сам пошел к автомобилю. Припомнив, что она говорила об одеялах под задним откидным сиденьем, я достал их, завернулся и улегся на теплый песок.

Вскоре Камилла выбралась из лужи и предстала предо мной. Мокрая и свежая, она с гордостью демонстрировала свою наготу.

— Я все еще нравлюсь тебе?

Я молча косился на нее, качал головой и усмехался. Она встала на одеяло и попросила подвинуться. Я освободил место, и она легла рядом. Тело ее было гладким и холодным. Она попросила обнять ее, я обнял, и она поцеловала меня влажными и прохладными губами. Мы лежали довольно долго, я был встревожен, расстроен, и желание не возникало во мне. Что-то вроде серого, мрачного цветка росло между нами, и мысль о пропасти, разделяющей нас, обретала все более определенные формы. Я не знал, что это было. Я чувствовал ожидание Камиллы. Поглаживая ее живот и ноги, я искал это глупое возбуждение, я рвался к нему изо всех сил, пока она ждала, пока она ворошила и терзала мои волосы, пока она молила меня, но ничего не получалось, вообще ничего. Всплывали обрывки письма Хэкута, мелькали

мысли о том, что следует описать, но похоти не было, лишь страх и стыд, и унижение. Я набросился на себя с обвинениями, я принялся ругать и проклинать себя, мне захотелось вскочить и броситься в океан. Камилла уловила мое отступление. Усмехнувшись, она села и взялась сушить волосы одеялом.

— Я думала, ты хочешь меня.

Я ничего не мог ответить на это, просто пожал плечами и встал. Мы оделись и поехали обратно в Лос-Анджелес. Мы не разговаривали. Она курила и как-то странно смотрела на меня, поджав губы и выпуская дым прямо мне в лицо. Я выдернул сигарету у нее изо рта и выбросил на дорогу. Она прикурила другую и теперь затягивалась медленно, самодовольно и с презрением. Я ненавидел ее за это.

На востоке из-за гор поднимался рассвет. Золотые полосы света прорезали небо, словно прожекторы. Я достал письмо Хэкмута и в очередной раз перечитал его. Там, далеко, на Востоке, в Нью-Йорке, возможно, в это время в свой офис входит Хэкмут. Где-то в этом офисе лежит моя рукопись «Давно утраченные холмы». Любовь — это не все, что есть в жизни. Женщины — не единственная радость. Писатель должен беречь свою энергию.

Мы въехали в город. Я объяснил Камилле, где живу.

— Банкер-Хилл? — рассмеялась она. — Да, это место для тебя.

— Абсолютно. В мой отель мексиканцев не пускают.

Мы оба чувствовали отвращение. Она подъехала к отелю и заглушила двигатель.

Я сидел, пытаясь что-нибудь добавить к сказанному, но так и не нашелся. Выбравшись из автомобиля, я кивнул на прощание и направился к отелю. Я чувствовал ее взгляд, будто мне между лопаток вонзили пару ножей. Лишь я подошел к двери, она позвала меня.

Я вернулся.

— Не поцелуешь меня на прощанье?

Я поцеловал.

— Нет, не так.

Ее руки обвили мою шею. Она притянула меня к себе и вдруг впилась зубами в нижнюю губу. Боль обожгла с головы до пят. Я колотил Камиллу до тех пор, пока она не отцепилась. И потом, откинув руку на соседнее сиденье, она улыбалась и наблюдала, как я улепетываю в отель.

Я достал платок и приложил к губе, на материи осталось кровавое пятно. В сумраке коридора я шел к своей комнате, и как только дверь закрылась за мной, огромное желание, которое так упиралось до этого, вдруг возникло и охватило меня. Оно крошило мой череп, донимало зудом в пальцах. Я бросился на кровать, схватил подушку и разодрал ее.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Весь следующий день я думал о нашей поездке. Я вспоминал ее смуглую наготу и жестокий поцелуй, ее дыхание, словно морская прохлада, и я видел себя: бледного и невинного, втягивающего свое формирующееся брюхо, стоя на песке и подбоченясь. Я мерил свою комнату шагами — туда-сюда, и к обеду вымотался так, что даже не мог без стога смотреть на свое отражение в зеркале. Усевшись за машинку, я ударил по клавишам, я изливал на бумагу свою версию произошедшего, я барабанил с такой яростью, что моя портативная машинка отползала от меня и металась по столу. На бумаге я подкрался к ней коварным тигром и одним прыжком подмял под себя, подавив сопротивление звериной силищей. Все закончилось ее слабым трепыханием подо мной, в песке, слезами и мольбой о прощении. Здорово. Превосходно. Но когда я перечитал написанное, все показалось мне вздорным и глупым. Я разодрал страницы и вышвырнул.

Зашел Хэллфрик. Он был бледен, его била дрожь, кожа сморщилась, как сырая бумага. Он завязал с выпивкой — теперь ни капли в рот. Усевшись на кровать, он стал хрустеть костлявыми пальцами и завел ностальгический разговор о мясе: о старом добром стейке, которым он лакомился у себя на родине в Канзас-сити, о восхитительной вырезке и отбивных из нежного мяса молоденьких барашков. Но здесь, в Стране вечного солнца, ничего этого нет, потому что скоту нечего жрать, кроме высохших сорняков и горячего песка, здешнее мясо кишит червями, и продавцы подкрашивают его, чтобы оно выглядело кровавым, и не одолжу ли я ему 50 центов? Я дал ему деньги, и он

отправился к мяснику на Олив-стрит. Вскоре после его возвращения по всему этажу поплыл острый аромат жареной печени с луком. Я заглянул в его комнату: Хэллфрик сидел перед полной тарелкой, рот его был набит, челюсти остервенело трудились. Он помахал мне вилкой и проговорил сквозь набитый рот: «Я этого не забуду, малыш. Я отплачу тебе тысячу раз».

Я почувствовал голод и, спустившись в ближайший ресторан на Энжелс-Флайт, заказал себе такое же блюдо. Поужинав, я тянул время, сидя с чашкой кофе. Я знал, что в конце концов все равно окажусь в «Колумбийском буфете». Стоило лишь мне прикоснуться к ране на губе, я чувствовал, как во мне вспыхивает злость, которую затем сменяет сильное возбуждение.

Но когда я дошел до «буфета», то войти не осмелился. Я перешел на другую сторону улицы и стал наблюдать за Камиллой через окно. Белых туфель на ней уже не было, и казалось, что она вполне счастлива, управляясь со своим подносом.

И вдруг у меня возникла идея. Я мигом отмахал два квартала и заскочил в здание телеграфа. И вот я сидел перед чистым бланком телеграммы с колотящимся сердцем. Слова корчились на бумаге: «Я люблю тебя, Камилла, и хочу жениться на тебе. Артуро Бандини». Когда я расплачивался, клерк глянул на адрес и сообщил, что телеграмма будет доставлена в течение 10 минут. Я поспешил обратно. Укрывшись в ближайшем подъезде, я стал ждать появления почтальона.

К моменту, когда я увидел его, выворачивающего из-за угла, я уже осознавал, что телеграмма — грубая ошибка. Я выскочил на улицу, остановил почтальона и стал объяснять ему, что это я написал телеграмму, но теперь не хочу, чтобы ее доставили адресату: «Это просто ошибка», — аргументировал я. Но он и слушать ничего не хотел — длинный, худой, с прыщавым лицом. Я предложил десять долларов. Он покачал головой и улыбнулся как-то многозначительно. Двадцать долларов, тридцать.

— Нет, даже за десять миллионов, — был его ответ.

Я снова укрылся в подъезде и оттуда стал наблюдать за тем, что произойдет дальше. Камилла была изумлена. Я видел ее недоумевающее лицо, когда она тыкала в себя пальцем, не веря, что ей пришла телеграмма. Даже после того, как она расписалась в получении, она все стояла с телеграммой в руке и смотрела вслед удаляющемуся почтальону. Когда же она наконец решилась раскрыть послание, я закрыл глаза, а когда снова открыл, она уже читала

телеграмму и смеялась. Затем она отошла к стойке и протянула мое признание бармену с лицом желтушного цвета, ну, тому, которого мы подвозили прошлой ночью. Он прочитал без эмоций и передал другому бармену. Тот тоже остался равнодушным. За это я был им весьма благодарен. И когда Камилла взялась перечитывать телеграмму, мне даже стало приятно, но вот когда она положила бланк на стол, за которым выпивало с полдюжины мужиков, моя нижняя челюсть отвисла — я был уничтожен. Гогот был слышен даже в подъезде. Содрогаясь, я кинулся прочь.

На Шестой я свернул за угол и двинулся к Мэйн. Я брел без всякой цели, пробиваясь сквозь толпы помятых, голодных бродяг. На Второй я остановился возле танц-клуба. Красочные афиши сулили восхитительный отдых в компании сорока прекрасных девушек и Лонни Киллулы с его сказочными гавайскими мелодиями. По высокой каменной лестнице с блуждающим эхом я взошел к окошку кассы и купил билет. В зале действительно было сорок женщин, все они стояли вдоль стены, лоснящиеся в своих облегающих вечерних платьях, большинство — блондинки. Никто не танцевал, ни единой души. На сцене оркестр из пяти человек с неистовством наяривал зажигательную мелодию. Человек пять посетителей, как и я, мялись возле невысокой плетеной изгороди прямо напротив девушек, которые различными знаками и телодвижениями пытались заманить нас. Я изучил ассортимент, выбрал блондинку в понравившемся мне наряде и оплатил пять танцев. Затем подал знак избраннице, и она порхнула в мои объятия, как давнишняя любовница. Мы летали по дубовому паркету два танца подряд.

Она пыталась утешить меня, называла «милым», но я мог думать только о той девушке, что находилась в двух кварталах, я видел себя лежащим возле нее на песке в полном оцепенении, как круглый идиот. Это было невыносимо. Отдав слащавой блондинке все билеты, я покинул зал и вышел на улицу. Прослонявшись бесцельно некоторое время, я остановился возле уличных часов и понял, что жду одиннадцати часов — время, когда закрывается «Колумбийский буфет».

Я был там в десять пятнадцать. Отыскав на стоянке ее автомобиль, я забрался на драное сиденье и стал ждать. В дальнем углу стоянки располагался навес, под которым смотритель вел свои записи. На крыше навеса были часы с неоновым циферблатом. Я не сводил с них глаз, наблюдая, как красная минутная стрелка неумолимо приближается к одиннадцати. Корчась и извиваясь от страха снова предстать перед Камиллой, я наткнулся рукой на что-то мягкое. Это оказалась шотландская кепка — черная с маленькой

пампушкой на макушке. Я оцупал ее и обнюхал. Она пропиталась запахом Камиллы. Это было то, что нужно. Я сунул находку в карман и смылся со стоянки. Взобравшись по ступеням Энжелс-Флайт, я бросился к отелю. Оказавшись в своей комнате, я извлек кепку из кармана и бросил ее на кровать, затем быстро обнажился, выключил свет, лег рядом и, содрогаясь, взял вещицу в руки.

Следующий день — день поэзии! Создай для нее поэму, Артуро, выплесни свою душу потоком нежнейших ритмов. Но оказалось, что я не умею писать стихи. «Любовь — морковь» — вот все, что у меня получалось, банальные рифмы, пошлые сантименты. Черт возьми, да какой я писатель, если не могу сложить маленькое четверостишие, я пустое место в этом мире. Я подскочил к окну, воздел руки к небесам и погрозил им. Пустышка, дешевая фальшивка, не писатель и не любовник, ни рыба ни мясо!

Что же случилось после?

Я позавтракал и отправился в маленькую католическую церковь, что располагалась на самом гребне Банкер-Хилла. Домик приходского священника располагался за зданием церкви. Я позвонил, появилась женщина в фартуке. Руки у нее были по локоть в муке и тесте.

— Я хочу видеть пастора.

Женщина приблизилась, и я смог рассмотреть квадратную челюсть и пару враждебно-пронзительных серых глаз.

— Настоятель занят, — ответила она. — Что вы хотели?

— Хочу видеть его.

— Говорю вам, он занят.

И тут в дверях появился он — коренастый, мускулистый, с сигарой во рту — мужчина лет пятидесяти.

— Что такое? — спросил он.

Я объяснил ему, что хотел бы поговорить наедине, что у меня проблемы личного характера. Женщина презрительно фыркнула и удалилась. Священник открыл дверь и повел меня в свой кабинет. Это оказалась

маленькая комнатка, заваленная книгами и журналами. У меня разбежались глаза. В одном углу я заметил огромную стопку журналов Хэкмута. Я шагнул к ней и вытянул номер с «Собачкой». Священник тем временем уселся.

— Отличный журнал, — сказал я. — Лучший.

Священник забросил ногу на ногу и вынул сигару изо рта.

— Гнилая начинка, — проронил он.

— Не могу согласиться, я имею честь быть постоянным автором этого издания.

— Вы? И что же вы опубликовали?

Я раскрыл перед ним на столе журнал. Он глянул и отодвинул его в сторону.

— Я читал этот рассказ — лицемерный вздор. А ваша ссылка на Святое причастие — гнусная и низкая ложь. Вам должно стыдиться за написанное.

Он откинулся на спинку кресла, недвусмысленно намекая, что презирает меня. Его злые глаза сверлили мой лоб, сигара шастала из одного угла рта в другой.

— Итак, — заговорил он, — зачем вы хотели видеть меня?

Сесть мне не предложили. Более того, он ясно дал понять мне, что я не должен прикасаться ни к чему в его кабинете.

— Это насчет девушки, — выдавил я.

— Что вы с ней сделали?

— Ничего, — начал я и осекся.

Я не мог с ним разговаривать. Он ранил меня в самое сердце. Лицемерный вздор! Богатейшая палитра тончайших нюансов, роскошные диалоги, глубочайший лиризм — и все это он называет лицемерным вздором. Поскорее закрыть мои уши, бежать из этого места, не слышать этих слов. Лицемерный вздор!

— Я передумал, не хочу говорить об этом.

Он поднялся и направился к двери.

— Очень хорошо, до свидания.

Я вышел на улицу. Жаркое солнце ослепило меня. Прекраснейший образец американской литературы, и этот человек, какой-то священник, обзывает его лицемерным вздором. Да, возможно, этот эпизод с Причастием и не совсем правдоподобен, может, этого и не было на самом деле, но Боже ж мой, какая психологическая нагрузка! Какая проза! Абсолютная красота!

Вернувшись в свою комнату, я уселся за печатную машинку, переполненный готовностью вершить свою месть. Статья — убийственная атака на беспросветную тупость Церкви. Я отпечатал название: Католическая Церковь обречена. Я долбил по клавишам с остервенением, страница за страницей, пока не высек целых шесть. Затем прервался и перечитал. Вышло коряво и смешотворно. Разорвав все в клочья, я рухнул на кровать. Что делать? Стихотворение для Камиллы не написано. И тут меня осенило. Я соскочил с кровати и сходу напечатал:

Я многое забыл, Камилла!

Исчез бесследно, сгинул,

Швырял в толпу бутоны роз разгульной жизни,

Стремясь в безумном танце достичь предела,

Я чистоту души утратил,

Но был я неутешен и болен прежней страстью,

Да, все это время, а танец долог был,

Тебе я оставался верен, по-своему, Камилла.

Я снес эти строки на телеграф, гордый содеянным, и проследил, как телеграфист прочитает мое послание — совершенное стихотворение, моя поэзия, частичка бессмертия от Артуро возлюбленной Камилле. Расплатившись за телеграмму, я отправился в свое убежище и стал ждать. Тот же самый парень примчался на велосипеде. Я видел, как он вручил бланк, как Камилла прочитала, остановившись посередине зала, как пожала

плечами и разорвала его на мелкие кусочки, я видел, как жалкие обрывки, кружась, полетели на пол в грязные опилки. Покачав головой, побрел я прочь. Даже поэзия Эрнеста Доусона не проняла ее, даже Доусон прошел мимо.

Ну и ладно, черт с ней, с этой Камиллой. Я смогу забыть ее. У меня есть деньги, а эти улицы полны удовольствий, которые она не может мне дать. Итак, вниз по Мэйн-Стрит до Пятой, вдоль вереницы ночных баров в «Погребок короля Эдварда», а там девушка с золотистыми волосами и болезненной улыбкой. Ее звали Джейн, тощая, туберкулезного вида, но ведь и ей было нелегко, она так старалась выкачивать из меня деньги, ее томный ротик льнул к моим губам, длинные пальчики шныряли вдоль штанин, а восхитительно-болезненные глаза караулили каждый доллар.

— Значит, тебя зовут Джейн, — бубнил я. — Ну что ж, прекрасное имя. Мы будем танцевать, Джейн, будем кружить всю ночь, и знаешь, ты прекрасна в этом голубом платье, но вот танцуешь ты с фальшивкой, отбросом общества, ничтожеством, я — ни рыба ни мясо.

И мы пили и танцевали и снова пили. Отличный парень Бандини, и Джейн даже представила его своему боссу: «Мистер Бандини, это мистер Шварц». Очень хорошо, крепкое рукопожатие. «Отличное заведение, мистер Шварц, милые девочки».

Еще порция, две, три. «Что ты пьешь, Джейн?» И я попробовал из ее стакана, эту коричневую жидкость, очень похожую на виски. Да, судя по тому, как она морщится, когда пьет, это должен был быть виски. Но это был не виски, это был чай, обыкновенный чай — сорок центов за глоток. Джейн, Джейн, маленькая лгунишка, пыталась одурачить великого писателя. Не жульничай со мной, Джейн.

С кем угодно, но только не с Бандини, красавцем-мужчиной, можно сказать, зверем. На, возьми эти пять долларов, просто так, не надо пить, Джейн, ничего не надо, просто сиди и дай мне посмотреть на тебя, потому что твои волосы светлые, а не темные, ты не такая как она, ты больна, ты приехала из Техаса, у тебя парализованная мать и тебе надо содержать ее, а денег очень мало, всего двадцать центов с каждой фальшивой порции, и сегодня ты сделала только десять долларов с Артуро Бандини, бедная девочка, несчастная голодная птаха с нежными глазами младенца и душой вора. Иди к своим морякам, дорогая. У них нет десяти долларов, но зато у них есть то,

чего нет у меня. Бандини — ничто, ни рыба ни мясо. Прощай, Джейн, прощай.

И вот уже другое заведение и другая девочка. О, как она была одинока здесь, вдали от своей родной Миннесоты. И у тебя тоже была состоятельная семья. Конечно, верю, дорогая. Давай, поведай моим утомленным ушам о своем состоятельном семействе. У вас было много земли, но потом наступила Депрессия. Как печально, как трагично. И сейчас ты работаешь здесь, на Пятой, в ночном притоне, и зовут тебя Эвелин, бедняжка Эвелин. Ах, у тебя есть еще очаровательная сестренка, она не как эти проститутки, которыми кишат бары, а элегантная женщина, и ты спрашиваешь, не хочу ли я познакомиться с ней? А почему нет? И глупышка Эвелин идет через залу, выдергивает свою сестрицу из компании мерзких матросов и тащит к нашему столику. «Вивьен, это Артуро. Артуро, это Вивьен». Но что случилось с твоим ртом, кто-то попытался расширить его при помощи ножа? А откуда этот налитый кровью глаз? Дорогая, у тебя изо рта несет как из сточной канавы, бедный ребенок, ты так далеко от славной Миннесоты. О нет, они оказывается, не шведки, откуда взбрела мне в голову такая идея. Да, их фамилия Мартенсен, но семья принадлежит к поколению американцев. Точно, точно. Две домашние девочки.

«А знаешь, Артуро, — говорит Эвелин, — бедняжка Вивьен отработала здесь уже почти полгода, и ни один из этих скотов не заказал ей бутылочку шампанского».

И вот наконец появляешься ты, Бандини, ты выглядишь приличным парнем. И разве Вивьен не очаровательна? И разве это не позор? И неужели ты не купишь ей шампанского? Милая Вивьен, рожденная в чистых полях Миннесоты, и вовсе не шведка, и почти девственница, ну, кто же устоит против таких доводов? Тащи сюда шампанского, самого дешевого, одну пинту, и мы все вместе выпьем его. Восемь долларов за бутылку? А дешевле здесь нет? Вон оно что, у вас на родине в Дулуте шампанское по двенадцать баксов за бутылку.

Ах, Эвелин и Вивьен, я люблю вас, люблю обеих, люблю за ваши загубленные жизни, за ваши нищенские возвращения домой на рассвете. Вы так же одиноки, но все же вы не такие, как Артуро Бандини, который есть ничто — ни рыба ни мясо. Так что получите ваше шампанское, потому что я люблю вас обеих, и тебя тоже, Вивьен, даже несмотря на твой рот, который, похоже, разодрали острые ногти, и плавающий в крови глаз.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Но такая жизнь была мне не по карману. Притормози, Артуро, ты что, забыл про апельсины? Я сосчитал остатки — двадцать долларов и несколько центов. Страх охватил меня. Пытаясь вспомнить и суммировать все траты, я чуть не свернул себе мозги. Но остатка в двадцать долларов так и не получалось — это невозможно! Меня ограбили, или я сунул деньги куда-нибудь в другое место. Я обшарил всю комнату, вывернул все карманы, но так ничего и не нашел. Под напором увеличивающегося страха и беспокойства я решил работать, написать что-нибудь сходу, вещь, созданная одним махом, должна быть хороша. Я сел за печатную машинку и погрузился в ужасающую своей бескрайностью пустоту. Поколотив себя кулаками по голове, я подложил под больную задницу подушку и издал протяжный, но приглушенный звук мучительной агонии. Все бесполезно. Я должен был увидеть Камиллу, остальное меня не волновало.

Я подждал ее на стоянке. В одиннадцать они появились — она и бармен Сэмми. Увидев меня еще на расстоянии, она понизила голос. Когда подошли к машине, Сэмми поздоровался, а Камила спросила:

— Тебе чего надо?

— Хотелось увидеть тебя, — ответил я.

— Я сегодня не могу.

— Давай встретимся попозже, — предложил я.

— Не могу, я занята.

— Ничего ты не занята. Давай встретимся, — настаивал я.

Она открыла дверцу с моей стороны, чтобы я освободил место, но я не двигался.

— Пожалуйста, уходи, — попросила она.

— А мне некуда.

Сэмми улыбнулся. Лицо Камиллы вспыхнуло от гнева.

— Убирайся к черту!

— И не подумаю, — сказал я спокойно.

— Да ладно тебе, Камилла, пойдем, — сказал Сэмми.

Вцепившись в мою руку, она попыталась вытащить меня из машины.

— Почему ты так себя ведешь? — кричала она, дергая меня за свитер. — Ты что, не видишь, что я не хочу иметь с тобой никаких дел?

— Я остаюсь, — твердил я.

— Дурак!

Сэмми пошел по направлению к улице. Она догнала его, и они пошли рядом, а я остался один, ужасаясь и вяло ухмыляясь тому, что я наделал. Как только они скрылись из виду, я вылез из машины и вернулся в свою комнату. Я поверить не мог в то, что сотворил. Усевшись на кровать, я попытался вытравить этот эпизод из своей памяти.

Вдруг в дверь постучали. Я и ответить ничего не успел, как дверь распахнулась, и я увидел женщину, которая смотрела на меня и как-то очень своеобразно улыбалась. Это была не высокая и не красивая женщина, но вполне зрелая и привлекательная с черными и беспокойными глазами. Они сверкали — глаза женщины, хватившей слишком много бурбона, — очень яркие, почти стеклянные и чрезвычайно дерзкие. Она замерла в дверном проеме и молчала. Одета она была со строгой тщательностью: черный жакет с меховой отделкой, черные туфли, черная юбка, белая блузка, в руках — ридикюль.

— Здравствуйте, — вымолвил я.

— Что вы делаете? — неожиданно спросила она.

— Просто сижу.

Я перепугался. Присутствие и вид этой женщины парализовали меня. Возможно, шок вызвало неожиданное ее появление, возможно, этому способствовало мое неуравновешенное состояние в тот момент, но ее близость и этот сумасшедший блеск стеклянных глаз вызывали во мне

желание наброситься на нее и избить, так что мне даже пришлось сдерживать себя. Правда, длилось это совсем недолго, и вскоре странное желание исчезло. Женщина прошлась по комнате, не отрывая от меня надменного взгляда. Я отвернулся и стал смотреть в окно, смутила меня не ее надменность, нет — странное желание снова пронзило меня, словно пуля. В комнате запахло духами, такой аромат витает в холлах роскошных отелей, все это окончательно выбило меня из колеи.

Когда она подошла ко мне совсем близко, я даже не встал, только набрал воздуха полную грудь и наконец снова отважился посмотреть на нее. Кончик нос у нее был слегка толстоват, что, впрочем, не выглядело уродством, толстые губы она не румянила, их истинный цвет был розовый. Но вот что действительно меня притягивало в ней, так это глаза: их ослепительный блеск, их животное жизнелюбие и бесстыдство.

Она повернулась к столу и выдернула лист из печатной машинке. Я не понимал, что происходит, просто сидел и молчал. Я уловил запах спирта в ее дыхании и еще очень специфичный и в тоже время характерный дух разложения, сладковатый и претящий, дух старости, дух женщины, превращающейся в старуху.

Она бегло просмотрела текст, он не впечатлил ее, и она швырнула бумагу через плечо, лист вошел в штопор и рухнул на пол.

— Плохо, — резюмировала она. — Вы не писатель. Совсем не умеете излагать.

— Большое спасибо, — сдержанно отреагировал я и попытался выяснить причины столь необычного визита.

Но женщина, похоже, утратила способность воспринимать чужие вопросы. Тогда я подскочил с кровати и предложил ей единственный свой стул. Она поглядела задумчиво сначала на стул, затем на меня и, усмехнувшись такой пустой затее, как просто сидение, отказалась. Она пошла по комнате, читая надписи, которые я расклеил на стенах. Это были цитаты, выписанные мной из Менкена, Эмерсона и Уитмена. Она фыркала на каждую выдержку. Фу, фу, фу! При этом топорщила пальцы и кривила губами. Наконец странная гостья уселась на кровать, скинула жакет на локти, руки в боки и уставилась на меня с недопустимым презрением. Медленно, с надрывом она продекламировала:

Кем быть мне, как не пророчицей и лгуньей,

Чья мать лесная ведьма,

а отец монах заблудший?

Зачатой на распятыи и в пучине вод рожденной,

Кем быть мне,

как не дочерью, дьяволом крещенной?

Это была Миллей, я сразу узнал ее стихи, а она все читала и читала. Наверное, она знала из Миллей больше, чем сама Миллей. Закончив декламацию, она посмотрела на меня и воскликнула:

— Вот это литература! Вы и понятия не имеете, что такое настоящая литература! Да вы просто болван!

К тому времени мои душевные тоны только-только стабилизировались, но после такого вероломного оскорбления во мне снова забушевал ураган.

Я попытался возразить, но она прервала меня и, словно невозмутимый Бэрримор, заговорила на низких, трагичных тонах о том, какая на всем этом лежит печать грусти, глупости, абсурда и сострадания к такому бездарному и беспомощному писателю, каким являюсь я, погребенному навеки в дешевом отеле Лос-Анджелеса, крапающему банальности, которые никто и никогда в мире читать не будет.

Она повалилась на спину, подложила руки под голову и, глядя в потолок, мечтательно заключила:

— Сегодня вы будете любить меня, вы, литературное посмешище... Да, сегодня...

— Скажите, что все это означает? — не выдержал я.

Она улыбнулась.

— Разве не ясно? Вы никто, я, возможно, и была кем-то, поэтому соединить нас может только любовь.

Дух от нее исходил настолько сильный, что он быстро пропитал всю комнату, и теперь я ощущал себя здесь совершенно чужим. Я подумал, что было бы неплохо выйти на улицу глотнуть свежего ночного воздуха, и предложил ей прогуляться.

Она резво поднялась.

— Знаете что, у меня есть деньги, много денег! Мы пойдем и выпьем где-нибудь?

— Почему бы нет, — согласился я, — неплохая идея, — и принялся надевать свитер.

Когда я повернулся, она стояла рядом и дотронулась кончиками пальцев до моих губ. Этот мистический, приторный запах, исходящий от ее тела, заставил меня отшатнуться к двери, которую я распахнул и которой прикрылся, будто пропуская даму вперед. Мы спустились вниз и вышли в вестибюль. Я был рад, что хозяйка уже легла спать, нет, причин для беспокойства не было, но все же мне не хотелось, чтобы мисс Харгрейвс видела меня с этой женщиной. Я попросил свою спутницу пересечь вестибюль на цыпочках, и она согласилось, мало того, она ужасно обрадовалась, словно бы ей предложили маленькое рискованное приключение, в порыве она крепко сжала мою руку.

На Банкер-Хилл опустился туман, к центру он рассеивался. Улицы были пустынные, и цокот от ее каблучков эхом катился вперед нас вдоль старых зданий. Она потянула меня за руку, и я нагнулся.

— Вы будете так нежны, — прошептала она, — так прекрасны!

— Давайте сейчас не будем об этом, — пробормотал я. — Давайте просто погуляем.

Ей требовалось выпить. Она настаивала. Открыв свой ридикюль, она извлекла десятидолларовую купюру.

— Смотрите — деньги! У меня куча денег!

Мы зашли в «Бар Соломона», где я обычно играл в кегли. В баре никого не было, кроме самого Соломона, который стоял, скрестив на груди руки, и

переживал за свой бизнес. Мы выбрали кабинку с окном на улицу, и я предложил ей сесть, но она настояла, чтобы я это сделал первым.

Подошел Соломон.

— Виски! — выкрикнула женщина. — Море виски!

Соломон нахмурился.

— Мне пива, маленькую, — заказал я.

Суровый взгляд Соломона продолжать изучать мою спутницу, от недовольства у него сморщилась даже лысина. Я почувствовал, что в таком пристальном внимании бармена замешено кровное родство — женщина была тоже еврейкой. Соломон ушел за выпивкой, а мы остались сидеть друг напротив друга: она с горящими глазами, положив руки перед собой на стол, вытворяла пальцами невообразимые кульбиты, а я обдумывал пути бегства.

— Немного спиртного вас успокоит, — проговорил я и, не успев ничего сообразить, почувствовал, что меня держат за горло.

Пока она говорила о моих губах, о моем восхитительном рте, ее короткие пальцы с длинными ногтями нежно поглаживали мой кадык. О Боже, какой у меня, оказывается, рот!

— Поцелуйте меня! — потребовала она.

— Обязательно, заверил я, — только давайте выпьем сначала.

Она скрипнула зубами.

— Значит, и вам все понятно обо мне! — заговорила она. — Вы — как и все остальные. Вы знаете о моих ранах и поэтому не хотите меня целовать. Я вам противна!

«Она точно сумасшедшая, — решил я. — Надо убираться отсюда». Тут женщина привстала и сама поцеловала меня. Я ощутил запах ливерной колбасы. Когда она оторвалась от меня и вздохнула с облегчением, я достал носовой платок и вытер пот со лба. Соломон принес заказ. Я потянулся за деньгами, но она опередила меня и сунула Соломону десятку. Бармен отправился за сдачей, я окликнул его и сказал, что желаю рассчитаться сам.

Женщина оскорбилась, она выражала свой протест, колошматя кулаками по столу и барабаня каблуками. Соломон обреченно поднял руки, и, взяв деньги женщины, пошел за сдачей. Как только он повернулся к нам спиной, я поднялся и сказал:

— Это ваш праздник, леди. Я ухожу.

Но она накинулась на меня и стала усаживать обратно. Ее руки крепко вцепились в меня. Мы боролись, пока я не решил, что это абсурдно. Усевшись, я стал обдумывать более хитрые пути спасения.

Соломон принес сдачу. Я взял одну монетку и сказал, что желаю сыграть в кегли. Не проронив ни слова, женщина позволила мне выйти из-за стола, и я направился к игровым автоматам. Она следила за мной, как кошка за хитрым мышонком. А Соломон с подозрением наблюдал за ней, словно перед ним коварный преступник. Выиграв, я подозвал Соломона, чтобы он запустил призовую игру.

— Кто эта женщина, Соломон? — шепнул я.

Он не знал, но она уже посещала его бар в этот вечер и прилично выпила. Я сказал ему, что хочу незаметно уйти.

— Первая дверь направо, — кивнул Соломон.

Женщина прикончила свой виски и теперь тарабанила пустой стопкой по столу. Я подошел, глотнул пива из своей бутылки и, указав на мужскую комнату, сказал, что должен отлучиться на минутку. Она молча погладила мою руку. Соломон видел, как я юркнул в дверь напротив той, что вела в туалет. Я миновал кладовую и распахнул дверь, ведущую во двор. Как только туман коснулся моего лица и заполнил легкие, я почувствовал облегчение. Мне захотелось бежать оттуда без оглядки. Хотя я и не был голоден, я прошагал целую милю до закусочной на Восьмой улице и выпил там пару кружек кофе, чтобы выждать время.

Я знал — она может снова наведаться в отель, после того как обнаружит, что упустила меня. Очевидно, эта женщина была не в себе, хотя, возможно, она просто перепила, но это не имело для меня никакого значения — я не хотел ее больше видеть.

К себе в отель я вернулся часа в два ночи.

В комнате все еще чувствовалось присутствие нежданной гостьи, этот запах старения, комната уже не принадлежала мне. Впервые наше целомудренное уединение было нарушено. Мне казалось, что все потаенные секреты моего убежища в одночасье были раскрыты. Я распахнул оба окна и стал наблюдать, как туман ползал в комнату печальными и медлительными клубами. Когда стало нестерпимо холодно, я закрыл окна. Комната отсырела, и все мои бумаги и книги стали влажными, но аромат ее духов так и не выветрился — непостижимо. Вытащив из-под подушки берет Камиллы, я почувствовал, что и он пропитался этой вонью, а когда я попробовал прижаться к нему лицом, то мне показалось, будто я окунулся в черные волосы этой женщины. Я сел за печатную машинку и стал барабанить по клавишам, печатая все, что взбредет в голову. И в тот же миг я услышал шаги в коридоре — она возвращалась. Живо выключив свет, я замер в темноте. Но было уже поздно, психопатка видела свет под моей дверью. Она постучалась, я не отвечал. Она постучалась снова, но я не шелохнулся, лишь пыхтел сигаретой. Тогда она принялась колотить в дверь кулаками и закричала, что если я не открою, то она будет долбить дверь ногами хоть всю ночь. Она не блефовала, ее пинки в дверь подняли такой кошмарный шум по всему ветхому отелю, что я не выдержал и открыл.

— Дорогой! — воскликнула женщина, простирая ко мне руки.

— Господи, — зашипел я на нее, — вам не кажется, что это переходит все границы? Я уже сыт по горло! Вы что — не видите?

— Почему ты бросил меня, дорогой? Почему ты так поступил со мной?

— У меня была назначена другая встреча.

— Зачем ты врешь мне, дорогой?

— Да идите вы к черту!

Женщина прошла в комнату, остановилась возле стола и выдернула лист из печатной машинки. На нем была напечатана полнейшая чушь — несколько несвязанных, случайных фраз, мое имя, отпечатанное большое количество раз и обрывки каких-то стихотворений. Но на этот раз лицо моей мучительницы озарила улыбка.

— Великолечно! — воскликнула она. — Ты — гений! Мой возлюбленный — гений!

— Я крайне занят, — залепетал я, — будьте так добры, уходите.

Она пропустила мои слова мимо ушей, села на кровать, расстегнула жакет и, покачивая ногой, объявила:

— Я люблю тебя. Ты мой малыш и будешь моим любовником.

— Как-нибудь в другой раз. Не сегодня. Я смертельно устал.

Приторный запах возвращался.

— Я не шучу, — заговорил я напористой. — Вам лучше уйти. Мне бы не хотелось применять силу.

— Я очень одинока, — проронила она.

Это прозвучало так неожиданно и так искренне, будто в ней что-то сломалось, прорвалось и хлынуло наружу вместе с этими словами. Мне стало стыдно за свою грубость.

— Ну ладно, — сказал я, — давайте просто посидим и поговорим немного.

Я взял стул, повернул спинкой вперед и оседлал. Я сидел, прислонившись подбородком к спинке стула, и смотрел на странную женщину, что расположилась на моей кровати.

Она была не настолько пьяна, как я думал.

С ней действительно что-то происходило, и виной тому был не алкоголь. Мне захотелось узнать, в чем истинная причина.

Ее рассказ отдавал безумием. Она назвала свое имя — Вера. Работала Вера экономкой у богатой еврейской семьи в Лонг-Бич. Но служба утомила ее. В Калифорнию она приехала из Пенсильвании, скрывшись на другом конце страны от своего мужа, который изменял ей. В этот злополучный день она приехала в Лос-Анджелес и увидела меня в ресторане на углу Оливковой и Второй. Она пошла за мной, потому что мои глаза «пронзили ее душу». Кстати, я не видел ее в ресторане. Я был уверен, что никогда не встречал эту женщину раньше. Проследив, где я живу, она отправилась в бар Соломона и стала пить. До вечера она пила, но это привело лишь к тому, что она совсем потеряла голову и ворвалась ко мне в комнату.

— Я знаю, что противна тебе, но ты должен попытаться забыть мое уродливое тело, потому что у меня доброе сердце. Знаешь, какая я хорошая. Я достойна большего, чем твое презрение.

Я лишился дара речи.

— Забудь о моем теле! — воскликнула она, простирая ко мне руки, и слезы хлынули по ее щекам. — Думай о моей душе! Она так прекрасна! И все, что есть в ней, будет твоим!

Вера закатилась в истерике, уткнувшись лицом в подушку, она ворошила свои темные волосы. Я был в растерянности, я никак не мог сообразить, о чем она толкует; ах, уважаемая леди, не надо так плакать, вы не должны плакать, я взял ее горячую руку и попытался объяснить ей, что все эти разговоры — пустая трата времени; весь ее разговор — жалкая глупость, это просто самоистязание какое-то, все ее слова — ворох бессмыслицы, и я силился донести до нее все это, размашисто жестикулируя и срываясь на умоляющий тон.

— Потому что вы очаровательная женщина! — горячился я. — И тело ваше прекрасно, а все эти разговоры есть не что иное, как навязчивая идея, детская фобия, похмельная хандра. И вам нечего терзаться и плакать, потому что все это пройдет. Я уверен, что вы справитесь с этим.

Но, похоже, я был слишком напорист и лишь усугубил ее страдания. Видать, она настолько глубоко погрузилась в сотворенный собственным сознанием ад, что один лишь звук моего голоса ввел ее в еще больший ужас перед зияющей бездной. Тогда, чтобы отвлечь ее от самой себя, я попробовал рассмешить ее рассказом о своем собственном помешательстве.

— Смотрите, леди, вот — Артуро Бандини, и он тоже многолик!

Я вытянул из-под подушки берет Камиллы с маленьким помпоном на макушке.

— Посмотрите на это, леди! Я тоже одержим. Знаете, что я делаю с этим? Я беру этот черный берет с собой в постель, я прижимаю его к себе и говорю: «О, как я люблю тебя! Люблю, моя прекрасная принцесса!»

Затем я выложил все начистоту; ох, леди, я далеко не ангел, и моя душа имеет темные закоулки и крутые перегибы, так что не считайте себя

одинокой, потому что у вас приличная компания; с вами Артуро Бандини, у него есть что рассказать вам. Послушайте-ка вот это... Знаете, что произошло со мной однажды вечером? Артуро готов признаться во всем. Знаете, какие ужасные вещи я творил? Однажды вечером мимо меня прошла женщина, нет, она проплыла на волнах божественного аромата, потому что она была неземной красоты. И я был не в силах сдержать себя... я не знал и никогда не узнаю, кто была эта женщина в лисьем манти и в элегантной шляпке... я просто повлекся за ней, ведь она была прекрасней любой мечты, я проследил, как она вошла в ресторан «Дары моря от Бернштейна», приткнулся к окну и сквозь огромные аквариумы с плавающими в них лягушками и форелью наблюдал, как она ест в одиночестве; а когда она закончила и ушла, знаете, что я сделал, леди? Прекратите плакать, ведь вы еще пока, считай, ничего не слышали, потому что на самом деле я ужасен и омерзителен, мое сердце переполнено черными чернилами; я — Артуро Бандини — вошел прямо в ресторан Бернштейна и сел за тот столик и на тот же самый стул, на котором только что сидела она, и, содрогаясь от радости, стал ощупывать салфетки, которыми она пользовалась, в пепельнице я обнаружил окурочек с ободком губной помады, и знаете, что было дальше, леди? Вы, со своими мелкими, смехотворными проблемами, знаете, что я съел этот окурочек? Да, я положил его в рот и стал жевать табак, бумагу, пепел — все! И проглотил, и вкус его показался мне восхитительным, потому что его курила такая восхитительная женщина. Возле тарелки лежала ложка, и я украл ее, я положил в карман и унес, а потом доставал и облизывал, потому что ею ела богиня. Так что не плачьте, леди. Поберегите ваши слезы для Артуро Бандини, потому что, если у кого и есть настоящие проблемы, так это у него. Я не хочу даже и начинать, но я мог бы рассказать вам о другой ночи, которую я провел на пляже с краснокожей обнаженной принцессой, ее поцелуи, как цветы смерти, распускающиеся в саду моей страсти.

Но Вера не слушала меня, скатившись с кровати, она рухнула предо мной на колени и стала умолять меня, чтобы я сказал ей, что она мне не противна.

— Скажи мне! — рыдала она. — Скажи, что я красива, как и другие женщины.

— Конечно, вы красивы! Вы действительно прекрасная женщина!

Я хотел поднять ее, но она прилипла к моим ногам насмерть, и мне не оставалось ничего, кроме как просто утешать ее. Правда, она была так

глубоко погружена в свою бездну, а я так неуклюж и некомпетентен, что ничего у меня не получалось, но я не оставлял надежды.

А Вера снова заговорила о своих ранах, страшных муках, они разрушили ее жизнь, они убивали любовь еще в зачатке, они толкнули ее мужа в объятия другой женщины, но для меня все ее признания оставались надуманными и невразумительными, потому что Вера была довольно симпатичная женщина, своеобразная, конечно, но не уродливая и не безобразная. И, на мой взгляд, многие мужчины обращали на нее внимание и могли полюбить ее.

Пошатываясь, Вера поднялась на ноги, растрепанные волосы закрывали лицо, локоны липли к мокрым от слез щекам, глаза покраснели и опухли, в общем, выглядела она как пропитанный горечью маньяк.

— Я докажу тебе! — выкрикнула она. — Я докажу, что ты лжешь! Лжец!

Вера рванула застёжки на юбке, и она скользнула вниз, сложившись аккуратным гнездышком у самых щиколоток. Перешагнув через юбку, Вера вышла на середину комнаты. Она была очень соблазнительна в белой комбинации, я так и сказал ей:

— Но вы и вправду красивы! Я готов повторить это!

Продолжая рыдать, она старалась расстегнуть блузку. Я сказал ей, что нет необходимости больше ничего снимать, что она развеяла все мои сомнения, и не следует ей терзать себя дальше.

— Нет, — твердила она, — я докажу тебе!

Но она никак не могла справиться с застёжками на спине и, повернувшись ко мне, попросила помочь ей.

— Да забудьте вы об этом, к чертовой матери — отмахнулся я. — Все, вы убедили меня. Не надо тут стриптиз устраивать!

Она отчаянно взвыла, ухватилась за блузку обеими руками и одним движением сорвала ее.

Когда же она начала снимать комбинацию, я отвернулся и отошел к окну. Я понял, что Вера собирается показать мне что-то отвратительное. И она

засмеялась, она визжала и тыкала пальцем мне в лицо, да, в мою озадаченную физиономию.

— Ага! Струсил! Вот так-то вот! Вот то-то же!

Я понял, что должен пройти через это и повернулся. На ней оставались лишь туфли и чулки. И я увидел предмет ее терзаний — ее боль. Это было родимое пятно или что-то в этом роде, прямо на бедре. На этом месте не было плоти, словно бы она выгорела, ссохлась, сморщилась и отмерла. Я подтянул отвисшую челюсть и проговорил:

— Вот это? И это все? Да это же безделица, сущий пустяк...

Но слова как-то ускользали от меня, и я должен был выталкивать их с бешеной скоростью, иначе бы они вовсе не звучали.

— Нелепица какая-то, — тараторил я. — Если честно, я и заметил-то еле-еле. Вы красивая! Вы восхитительная!

Все еще не веря моим словам, она с любопытством осмотрела себя и затем снова перевела взгляд на меня. Я старался смотреть ей прямо в лицо, вдыхал сладковатый, насыщенный запах чужого присутствия и, чувствуя приливы тошноты, снова заговорил о том, насколько она неотразима, что мир просто меркнет перед ее красотой, созерцание которой сравнимо с редкими мгновениями наслаждения при виде юной девушки, невинного ребенка...

Вера залилась краской смущения, подхватила свою комбинацию и надела ее через голову, испустив при этом стон какого-то странного удовлетворения.

В мгновение ока она преобразилась, превратившись в совершенно счастливое и кроткое существо. Я рассмеялся, теперь слова вылетали из меня сами собой, я нес ей о ее привлекательной кротости и дальше в том же духе. Но я чувствовал, что внутри меня что-то творится, давай быстрее, Артуро, говорил я себе, заканчивай, потому что, похоже, тебе срочно нужно выйти. Я округлился и сообщил ей, что должен отлучиться на минутку в холл, а она может пока спокойно одеться. Она прикрылась и проводила меня взглядом глаз, плавающих в океане восхищения. Я выскочил из комнаты, добежал до пожарной лестницы и дал волю чувствам. Я рыдал и не в силах был остановиться, потому что Бог оказался грязным пройдохой, презренным вонючкой, сотворив с этой женщиной такую подлость. Спустись со своих небес, Боже, иди сюда к нам вниз, и я ткну тебя рожей в этот город Лос-

Анджелес, ты, жалкий шутник, нет тебе прощения. Если бы не ты, эта женщина не была бы так уродлива, и мир тоже, если бы не ты, то я бы поимел Камиллу Лопес там, на пляже, но нет! Это все твои штучки-дрючки: смотри, что ты сделал с этой женщиной, посмотри, во что превратил любовь Артуро Бандини к Камиле Лопес. И тут моя личная трагедия заслонила горе несчастной женщины, и я забыл про нее.

Когда я наконец вернулся в свою комнату, Вера была уже одета и причесывалась у зеркала. Порванная блузка торчала из кармана ее жакета. Выглядела она очень изнуренной, но все еще светила счастьем. Я сказал, что провожу ее до депо и посажу на поезд до Лонг-Бич. Но она отказалась и написала свой адрес на клочке бумаги.

— Однажды ты приедешь в Лонг-Бич, — сказала она. — Мне придется ждать долго, но ты приедешь.

Мы попрощались, она протянула мне руку, такую теплую, живую.

— До свидания, береги себя.

— До свидания, Вера.

Но после ее ухода долгожданного уединения не наступило, от ее специфического запаха не было спасения. Я лег на кровать, но даже Камилла, которую олицетворял шотландский берет на подушке, казалась мне такой далекой, и я никак не мог приблизиться к ней. Постепенно я стал ощущать растущее во мне возбуждение, а за ним еще и печаль; ведь ты мог бы поиметь ее, ты, придурок, ты мог бы сделать то, чего так хочешь, чего хотел от Камиллы, но ты опять ничего не сделал. Всю ночь образ Веры преследовал меня, коверкая и корежа мой сон. Я вскакивал, вдыхал оставленный ею аромат, ощупывал предметы, которых она касалась, в голове у меня вертелись строки стихов, которые она декламировала. Когда я уснул, не помню, но когда очнулся, было уже десять утра и я был разбит. С тревогой на сердце я обдумал все, что случилось. А ведь все могло быть по-другому, я бы мог все ей разъяснить, и она бы поняла меня. Вера, вот смотри, ситуация складывается так-то и так, дальше происходит то-то и то, и если бы ты смогла сделать так, а не эдак, то, возможно, в дальнейшем такое не повторилось бы, потому что, смотри, такой-то человек думает обо мне так-то, и это надо изменить, понимаешь, лучше умереть, но все же изменить неправильное представление о себе.

Так я просидел весь день в думах; я размышлял о знаменитых итальянцах, Казанове и Селинни, а потом перекинулся на Артуро Бандини, в результате стал колотить себя кулаками по голове.

Незаметно для себя, я стал мечтать о Лонг-Бич, да, сказал я сам себе, как минимум я должен посетить эти места, ну, не исключено, что загляну к Вере, и мы коснемся в разговоре ее проблемы. Я думал об отмершем месте на ее теле, о ее ране и пытался подыскать слова, прикидывал, как можно описать эту ситуацию, мне уже мерещились страницы рукописи. И тогда я сказал себе, что Вера, при всех ее пороках, способна совершить чудо, и после сотворения этого чуда преображенный Артуро Бандини предстанет перед миром и Камиллой Лопес, да, Бандини — взрывоопасный, как динамит, с глазами, извергающими неистовый огонь, явится перед Камиллой Лопес и гаркнет: слушай сюда, красотка, я слишком церемонился с тобой, но теперь я сыт по горло твоим бесстыдством, и ты весьма обяжешь меня, если быстренько разденешься. Вот такими причудливыми картинами ублажал я себя, лежа на кровати и пялясь в потолок, разворачивая одно полотно ярче другого.

Я сообщил мисс Харгрейвс, что отлучусь на денек или больше в Лонг-Бич по делам, и тронулся в путь. В кармане у меня лежал клочок бумаги с адресом Веры, и я сказал себе: Бандини, готовься к рискованному приключению, пропитайся духом мужественного завоевателя. На углу я встретил Хеллфрика, он истекал слюной, мечтая о мясе. Я одолжил ему немного денег, и старик ринулся в мясную лавку. Добравшись до станции, я сел в электричку до Лог-Бич.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На почтовом ящике было ее полное имя — Вера Ривкен. Дом в нижнем Лонг-Бич, напротив «Чертова колеса» и «Американских горок». На первом этаже бильярдная, на верхних — несколько отдельных апартаментов. Безошибочно определил ее лестничную площадку — по запаху. Перила покороблены и перекошены, серая краска на стенах вздулась, пузыри с треском лопались, когда я тыкал в них пальцем.

Я постучался. Дверь открыла Вера.

— Так быстро? — удивилась она.

Обними ее, Бандини. Не гримасничай на ее поцелуй, отстранись деликатно, с улыбкой, скажи что-нибудь приятное.

— Прекрасно выглядишь!

Но ей не до разговоров, она льнет ко мне, как виноградная лоза, ее язык словно перепуганная змейка ищет мой рот. Ну, Бандини — великий итальянский любовник — ответь ей! Ох, страстная еврейская женщина, будь так добра, не спеши, давай возьмемся за дело чуть помедленнее!

Освободившись, я отхожу к окну, говорю что-то о море: «Великолепный вид». Но она не слушает, снимает с меня пальто, усаживает в кресло, снимает ботинки.

— Устраивайся поудобней, — говорит она и уходит.

А я остаюсь и, скрипя зубами, осматриваю комнату, комнату, каких миллион в Калифорнии — немного дерева, немного отделочного камня, мебель, паутина на потолке, по углам пыль, ее комната, как и любая другая в Лос-Анджелесе, Лонг-Бич, Сан-Диего, — немного штукатурки снаружи, немного изнутри, чтобы укрыться от солнца.

Она возилась в белой норе под названием кухня, гремя кастрюлями и позвякивая стаканами. А я сидел и удивлялся: ну, почему она для меня совсем не то, когда я один в своей комнате и когда мы вместе. Я поискал взглядом, что бы могло испускать этот приторный запах? Откуда-то он же должен исходить. Но ничего не обнаружил, ничего, кроме мягкой мебели с грязно-синей обивкой, стола с разбросанными на нем книгами и зеркала возле высокой кровати. Вера вышла из кухни со стаканом молока и протянула его мне.

— Вот — холодненькое.

Но молоко оказалось совсем не холодненьким, а скорее, почти горячим и, к тому же, подернулось желтоватой пенкой. Я отхлебнул и ощутил вкус ее губ и грубой пищи, которой она питалась, — вкус ржаного хлеба и сыра «камамбер».

— Здорово, — сказал я. — Очень вкусно.

Потом она сидела у меня на коленях и пожирала своими жадными глазами, такими огромными, что я мог бы затеряться в них навсегда. На ней была та же самая одежда, в которой я ее увидел впервые, и жилище ее было каким-то заброшенным, хотя другого у нее и быть не могло. Похоже, перед моим приходом Вера подпудрилась и поддрумьянилась, и теперь я видел отметины преклонного возраста под ее глазами, на щеках. «Странно, что я не заметил их в ту ночь», — сначала было удивился я, но потом вспомнил, что все же я видел эти морщины, да, даже сквозь пудру и румяна, но последующие два дня мечтаний и фантазий разгладили их. Но вот она у меня на коленях, и я понимаю, что не следовало мне сюда приходить.

Мы разговаривали, она и я. Она интересовалась моей работой, но это было напускное, ее не волновала моя работа. Я отвечал, но и ответы мои были фальшивкой, меня моя работа тоже не интересовала. Единственная вещь волновала нас, это то, зачем я явился к ней.

Но куда же подевались все слова, все те маленькие похотливые страстишки, которые я приволок с собой? Где все мои фантазии, где мое необузданное желание? И что случилось с моей храбростью, почему я сижу и хохочу как полоумный над совершенно несмешными вещами? Очнись, Бандини, отыщи свое вожделение, распали свою страсть, как это описывается в книгах. Подумай, двое людей в комнате: одна женщина, другой... Артуро Бандини — ни рыба ни мясо.

Еще одно затянувшееся молчание, ее голова уже на моих коленях, мои пальцы играют с ее темной шевелюрой, отсортировывая седые волосы. Проснись, Артуро! Что если бы Камилла Лопез увидела бы тебя сейчас, твоя настоящая любовь, твоя майяская принцесса с огромными черными глазами? О, черт бы тебя побрал, Бандини! Ты чудовище! Может быть, ты и создал «Собачка смеялась», но тебе никогда не осилить «Воспоминания Казановы». Ну! Чего ты расселся здесь? Мечтаешь об очередном шедевре? Ну ты и кретин, Бандини!

Вера подняла голову и увидела меня сидящим с закрытыми глазами, но она не знала моих мыслей. Хотя, возможно, она все поняла, потому что сказала:

— Ты устал. Тебе надо вздремнуть.

А потом разложила кровать и настояла на том, чтобы я лег. Сама легла рядом, положив голову на мою руку. Наверное, это было написано у меня на лице, потому что она спросила:

— Ты любишь кого-нибудь?

— Да. Я люблю девушку из Лос-Анджелеса.

— Я понимаю, — сказала она, прижимаясь ко мне.

— Наверяд ли...

У меня было сильное желание рассказать ей о цели своего визита, слова так и вертелись на языке, они просто рвались наружу, но я осознавал, что никогда не отважусь на это. Мы лежали бок о бок и таращились в пустоту потолка. Я проигрывал варианты начала разговора: «Знаешь, я хочу что-то сказать тебе. Возможно, ты сможешь мне помочь». Но дальше этих двух фраз дело не шло. Нет, я ничего не скажу ей. Оставалось надеяться, что она сама как-то вытянет из меня признание. Но Вера продолжала спрашивать меня совсем не о том.

— Не надо об этом! — с нетерпением оборвал ее я. — Есть вещи, о которых я не могу говорить.

— Расскажи мне о своей возлюбленной, — попросила она.

Это было мне не по силам — быть с одной женщиной и с восхищением говорить о другой.

— Она красивая?

— Да.

— Она любит тебя?

— Нет.

Сердце мое подпрыгнуло и затрепыхалось почти под самым горлом, это потому, что Вера прижалась ко мне еще ближе, и я почувствовал, что она собирается задать главный вопрос. И я ждал, пока она поглаживала мой лоб.

— А почему она не любит тебя?

Вопрос был задан. Скажи я правду, и все прояснилось бы, но я соврал:

— Просто не любит и все.

— А может, она любит другого?

— Не знаю. Возможно.

Возможно то, возможно — это, вопросы, вопросы... Мудрая женщина, двигаясь на ощупь в крошечной темноте, постепенно, как в игре «холодно — горячо», она подбиралась к страсти Артуро Бандини, который жаждал выплеснуть ее.

— Как зовут ее?

— Камилла.

Вера привстала и кончиками пальцев коснулась моих губ.

— Я так одинока, — прошептала она, представь, что я — это она.

— Да. Так и есть. Ты — Камилла.

Я раскрыл объятия, и она бросилась мне на грудь.

— Я твоя Камилла, — твердила она.

— Да, и ты прекрасна. Ты майяская принцесса...

— Я принцесса Камилла...

— Все эти земли и океан принадлежат тебе. Вся Калифорния. Но Калифорнии никакой нет, нет Лос-Анджелеса, нет пыльных улиц, нет дешевых отелей, нет отвратительных газет, нет этих обнищавших беженцев с Востока, нет модных проспектов. Есть твоя чудная страна с пустыней, горами и морем. И ты царствуешь здесь, моя принцесса.

— Я принцесса Камилла, — вторила она сквозь рыдания. — И нет никаких американцев, нет Калифорнии. Только пустыня, горы и море. И я царствую над всем этим.

— И прихожу я.

— Приходишь ты...

— Собственной персоной. Артуро Бандини — величайший писатель всех времен и народов.

— О, да! — задыхаясь от восторга, подхватила она. — Конечно! Артуро Бандини — всемирный гений!

Вера уткнулась мне в плечо, и я почувствовал, как ее горячие слезы закапали мне на шею. Я обнял ее крепче.

— Поцелуй меня, Артуро...

Но я не поцеловал ее. Игра еще не закончилась. Или будет так, как я хочу, или ничего не будет.

— Я завоеватель! — воскликнул я. — Как Кортес, только я прибыл из Италии!

Вот теперь я ощущал, что готов. Новая реальность не оставляла желать ничего лучшего, радость переполняла меня, потолок превратился в голубое небо, и весь мир стал таким крохотным, что умещался у меня на ладонке. Я затрепетал от восторга.

— Камилла, как я люблю тебя!

И не было уже на ее теле никаких пятен и рубцов. Она явилась Камиллой — совершенной и прекрасной. И принадлежала она мне, потому что так был устроен мир. Я был счастлив ее слезам, они возбуждали и возвышали меня. Я овладел ею.

А потом я уснул, невозмутимый, утомленный. Сквозь поволоку дремы до меня доходили ее рыдания, но они больше не волновали меня. Ведь она уже не была Камиллой. Она снова превратилась в Веру Ривкен, и я находился в ее комнате и, как только я посплю немного, я встану и уйду.

Когда я проснулся, Веры не было. Комната красноречиво свидетельствовала об ее уходе. Окно нараспашку, медленно развиваются занавески. Дверца шкафа приоткрыта, на ручке — вешалка. Недопитый стакан молока там же, где я оставил его вчера, — на ручке кресла. Все эти мелочи бросались в глаза

и обвиняли Артуро Бандини, но, выпавшись, я оставался холоден и стремился лишь к одному — поскорее уйти и никогда не возвращаться сюда.

На прощание я остановился в дверях и еще раз окинул взглядом комнату. Запомни хорошенько это место. Здесь творилась история. Я рассмеялся. Артуро Бандини, обходительный молодой человек, утонченная натура, вы бы слышали его рассуждения на тему женщин. Но комната показалась мне слишком несчастной, она молила о любви и заботе — комната Веры Ривкен. Вера — она была так мила с Артуро Бандини, и она существовала на краю бедности. Я достал из кармана остатки своих денег, вытянул две однодолларовые купюры и положил их на стол. Сбегая по лестнице, я дышал полной грудью и ощущал себя на грани ликования. Мои мускулы были крепки и эластичны, как никогда.

Но на задворках моего сознания уже сгущались тучи. Я вышел на улицу, миновал «Чертово колесо» и пошел вдоль навесов кафе и закусочных. Мне показалась, что ситуация ухудшается, покой и равновесие были нарушены, нечто смутное и неопределенное просачивалось в мое сознание. Я завернул в закусочную и заказал кофе. Поджидая заказ, я чувствовал, что беспокойство и одиночество подкрадываются ко мне. В чем дело? Я пощупал пульс — в норме. Я подул на кофе и выпил его — отличный кофе. Вскоре я обнаружил то, чего доискивался, кончиками пальцев своего мозга я дотянулся до эпицентра моих треволнений, но лишь только я коснулся его, осознание явилось мне оглушительными раскатами грома, как смерть и разрушение. Я вскочил и в ужасе бросился на улицу, я бежал по тротуару, и люди казались мне какими-то призраками: весь мир превратился в мираж, в прозрачную плоскость, на которой все мы появлялись в течение короткого промежутка времени: и Бандини, и Хэмут, и Камилла, и Вера, а потом исчезали куда-то; мы вовсе не существовали; мы приближались к жизни, но никогда не входили в нее. Мы все были на пороге гибели. Все без исключения, даже ты, Артуро, ты обречен на смерть.

Я знал, что обрушилось на меня. Огромный белый крест вонзился в мой мозг. О, глупец, скоро ты сдохнешь, и ничего уже с этим не сделать. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Смертельный грех, Артуро. Не прелюбодействуй. Я — католик. И Вера Ривкен — мой смертельный грех.

В конце вереницы кафе и закусочных начинался песчаный пляж. Дальше дюны. Я пересек пляж и углубился в дюны. Нужно все обдумать. Я не упал на колени, нет, я сел и стал смотреть, как волны вгрызались в берег. Плохо,

Артуро, скверно. Ты читал Ницше, читал Вольтера, тебе следует знать больше. Но никакие логические выкладки здесь не помогут. Я мог бы убедить себя, но это не проникло бы в мою кровь. Кровь, которая циркулировала по всему телу и заставляла его жить, эта кровь говорила мне, что это неправильно. Я сидел и отдался голосу крови, я позволил ей увлечь меня в глубины моего начала начал. Вера Ривкен, Артуро Бандини. Этого не должно было случиться. Этого никогда не должно было произойти. Я сотворил зло. Я совершил смертельный грех. А ведь я мог предотвратить свое грехопадение, мог вычислить его математически, философски, психологически. Я мог бы доказать это самому себе тысячу раз и различными способами. И все же я совершил зло, наплевав на пылкие натиски чувства вины.

С отвращением в душе я все же пытался представить себе пути поиска прощения. Прощения у кого? Бога? Христа? Они были мифами, в которые я однажды поверил, они и сейчас были символами моей веры, и я чувствовал, что это всего лишь призраки. Вот есть море, и есть Артуро, и море реально, и Артуро верит в эту реальность. Я отвернулся от моря, и теперь куда бы ни направился мой взгляд, везде я видел сушу. Мысленно я устремился вперед, я шел и шел, но суша все опережала меня, убегая за горизонт. Год, пять лет, десять — и я уже не вижу моря. Я говорю себе: а что случилось с морем? И отвечаю: море там, позади, оно осталось в резервуарах памяти. Море — миф. Его никогда не существовало. Но ведь было же море! Я говорю вам: море было, а я был змеей боа и жил в водах этого моря! Оно кормило и спасало меня, просто оно сейчас очень далеко и это умопомрачительное расстояние служит пищей моим мечтам! Нет, Артуро, никакого моря не было. Это все твои фантазии и желания, оглянись, ты идешь по пустырю. Ты никогда больше не увидишь моря. Это всего-навсего миф, в который ты поверил однажды. Но знаете что, я даже улыбнулся, ведь соль этого моря осталась у меня в крови, и пусть землю покрывают десять тысяч дорог, но они не запутают меня; мое сердце, питаемое этой кровью, все же выведет меня к прекрасному источнику.

Итак, что я должен сделать? Запрокинуть голову и заплетающимся перепуганным языком бормотать о прощении? Или обнажить грудь и колотить по ней, как по барабану, в надежде снискать внимание Христа? Или разумнее все же оправдывать себя и идти дальше? И впереди ждет меня смятение и наступит голод; грянет одиночество, и лишь слезы, словно крохотные птицы, будут опылять влагой мои иссохшие губы. Но за всем этим придет утешение, прекрасное, как любовь девушки из древности. И

будет смех, сдержанный смех, и тишина в ожидании заката, и легкий трепет ночи, такой нежный, как щедрый и горький поцелуй смерти. Ночь, мягкая и душистая, как оливковое масло с берегов моего моря, заполнит мои чувства былыми вождями, которых я предал в мечтательной порывистости своей юности. Но я буду прощен за это и за все остальное: за Веру Ривкен, за то, что дремлют во мне крылья, подаренные Вольтером, за глухоту и слепоту к песням и полетам этого пленительного духа, за все это будет мне прощение, когда я вернусь к моему родному морю.

Я поднялся и побрел по направлению к тротуару, утопая и увязая в песке. Вечер был в полном разгаре, и дерзко-красный шар солнца опускался за море. Чувствовалось что-то особенное в дыхании неба — странное и напряженное. Южная часть побережья кишела от охотившихся чаек. Я приостановился, чтобы высыпать из ботинок набившийся песок и, балансируя на одной ноге, потянулся к каменной скамье.

Неожиданно поднялся гул, затем раздался грохот.

Скамейка ускользнула от меня и провалилась в песок. Я посмотрел в сторону Лонг-Бич — высотные здания раскачивались, как деревья на ветру. Песок подо мной стал уплывать. Я зашатался, но сумел отыскать точку опоры. И тут все повторилось.

Это было землетрясение.

Послышались крики. Поднялась пыль. Гул и грохот разрушений. Я завертелся на месте, как волчок. Это все из-за меня. Моя работа. Я замер с открытым ртом, озираясь вокруг себя, потрясенный и обезумевший. Повинуясь какому-то бессознательному импульсу, я бросился к морю, но, сделав несколько прыжков, повернулся и побежал обратно.

Это сделал ты, Артуро. Это гнев Божий. Все из-за тебя, Бандини. Гул нарастал. Море и суша вздымались, как кипящее масло. Отовсюду доносился грохот рушившихся конструкций. Я слышал крики и вой сирен. Люди покидали свои жилища. Поднимались огромные клубы пыли.

Это сотворил ты, Артуро. Там, в комнате, на кровати.

Стали падать фонарные столбы. Здания трескались и разваливались, как печенье. Крики, вопли мужчин, женский визг. Сотни людей спешили покинуть свои дома, подальше от опасности. На тротуаре лежала женщина и билась в истерике. Плакал мальчишка. Летели вниз стекла и разбивались вдребезги. Звон пожарных колоколов. Сирены. Клаксоны. Безумие.

Сильнейший толчок и затем вибрация. Глубоко под землей непрекращающийся гул. Рушились трубы и распадались на кирпичики, пелена серой пыли заволакивала все вокруг. Люди выбегали на пустыри подальше от построек.

Я поспешил на один из таких пустырей. Бледные лица, плачущая старуха. Двое мужчин пронесли безжизненное тело. Старая собака ползла на животе, ее перебитые задние ноги волочились. В сарае на самом краю пустыря под окровавленными простынями — трупы. Машина скорой помощи. Смеющиеся школьницы. Я смотрю вдоль улицы — фасады домов обвалились. Со стен свисали складывающиеся кровати. Из развороченных душевых торчали ванны. Тротуары и проезжая часть были завалены обломками. Мужчины кричали, давая друг другу указания. С каждым толчком обломков становилось все больше. Люди отступали, пережидали опасность и снова бросались на завалы.

Я направился к сараю, земля дрожала под ногами. Открыв дверь, я чуть не потерял сознание. Внутри в ряд лежали трупы, трупы, накрытые простынями, кровь просачивалась сквозь простыни. Кровь и смерть. Я отшатнулся и сел. Земля сотрясалась, толчок за толчком.

А где Вера Ривкен? Я поднялся и пошел к ее дому.

Улицу патрулировали морские пехотинцы, вооруженные штык-ножами. Я увидел издали дом, в котором жила Вера. Все перекрытия рухнули, остались только стены. На одной из них, как распятый на кресте человек, висела кровать. Я вернулся на пустырь. Там уже развели костер. Лица сидящих вокруг костра раскраснелись от жаркого пламени. Я стал всматриваться в них, но знакомых не находил. Среди них не было Веры Ривкен. Несколько пожилых мужиков образовали небольшой круг и тихо переговаривались. Один высокий с бородой уверял, что это конец света, который он предсказал еще неделю назад. Вдруг в их компанию вклинилась женщина с растрепанными и перепачканными волосами. «Чарли погиб!» — выкрикнула она. И запричитала: «Бедный Чарли умер! Мы не должны были идти! Я

говорила ему, что нам не надо идти!» Один из стариков схватил ее за плечи и развернул к себе лицом.

— Чего ты городишь? — закричал он.

Женщина потеряла сознание и повисла на его руках.

Я отошел в сторону и присел на бордюр. Кайтесь, кайтесь, пока не поздно. Я попытался произнести молитву, но рот был забит песком, горло пересохло. Молитв не будет. Но теперь моя жизнь изменится. С сегодняшнего дня будут преобладать кротость и добродетель. Сегодняшние события — поворотный пункт в моей жизни. Это все из-за меня и для меня, это предупреждение для Артуро Бандини.

Люди у костра распевали псалмы. Они сидели плотным кольцом, и крупная женщина дирижировала хором. «Обратите свои глаза к Иисусу, ибо скоро явится нам Иисус». Все пели. Какой-то малыш с монограммой на свитере протянул мне книгу псалмов. Я подошел. Бабища в круге поющих с диким остервенением размахивала руками, песня попеременно с клубами дыма поднималась в небеса. Земля продолжала содрогаться. Я глянул на книгу, развернулся и пошел назад. Господи, это Протестанты! В моей церкви не распевают дешевых гимнов. Наши молитвы сопровождают Гендель и Палистрина.

Стемнело. На небе стали появляться звезды. Толчки не прекращались, повторяясь с промежутком в несколько секунд. С моря подул ветер, и стало холодать. Люди жались друг к другу. Отовсюду слышались завывания сирен. Сверху жужжали аэропланы, отряды моряков и морских пехотинцев патрулировали улицы. Санитары с носилками бросались в разрушенные дома. Две машины скорой помощи поочередно подъезжали к сараю. Я поднялся и пошел прочь. Прибыл Красный крест. Они разбили свой штаб на углу пустыря и стали раздавать кофе в больших банках. Я встал в очередь. Мужчина впереди заговорил со мной:

— В Лос-Анджелесе намного хуже. Тысячи трупов.

Тысячи. Среди них может быть и Камилла. Этот «Колумбийский буфет» должен был рухнуть в первую очередь. Он такой старый и ветхий, кирпичные стены растрескались. Без сомнений она погибла. Она работала с четырех до одиннадцати. Стихия настигла ее в середине рабочего дня. Камилла мертва, а я жив. Хорошо. Я рисовал себе ее смерть: как она лежит,

как закрыты ее глаза, как руки сложены на груди. Она мертва, а я жив. Мы не понимали друг друга, но мне она нравилась, по-своему. Я буду долго помнить ее. Вероятно, я буду единственным человеком на земле, который будет хранить память о ней. Как много забавного я мог бы припомнить, связанного с ней: ее гуарачи, как стыдилась она своей национальности, ее нелепый маленький «форд».

Разного сорта слухи распространялись по пустырю. Надвигается приливная волна. Приливной волны не будет. Землетрясение поразило всю Калифорнию. Нет, только Лонг-Бич. Лос-Анджелес превратился в руины. Да там даже ничего не почувствовали. Кто-то сказал, что число жертв перевалило за пятьдесят тысяч. Это землетрясение почище, чем было в Сан-Франциско. Да это землетрясение не сравнить с землетрясением в Сан-Франциско. Но, несмотря на все эти страхи, люди были собранны и организованны. Да, они были напуганы, но не в панике. То тут, то там видны были улыбки. Смелые люди. Они покинули свои дома, но храбрость прихватили с собой. Крепкий народ. Их ничем не испугаешь.

Морские пехотинцы установили на пустыре радио с большими громкоговорителями, направленными в толпу. Репортажи о масштабах катастрофы шли непрерывно. Низкий голос гудел на весь пустырь, раздавая инструкции. Эти инструкции были законом, и все охотно следовали им: никто не должен покидать Лонг-Бич до особого распоряжения. Город переходит под юрисдикцию военных. Приливной волны не будет. Опасность миновала. После непродолжительного затишья толчки будут еще некоторое время продолжаться, но бояться их не следует.

Красный Крест раздавал одеяла, еду и кофе. Всю ночь мы просидели возле громкоговорителей, слушая новости. Наконец пришло сообщение, что в Лос-Анджелесе разрушения незначительные. Диктор стал читать список имен погибших. Камиллы Лопес в этом списке не значилось. Я не сомкнул глаз, постоянно пил кофе, курил и вслушивался в имена мертвых. Ни одной Камиллы, ни одной Лопес.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Я вернулся в Лос-Анджелес на следующий день. Город стоял невредимый, но я был напуган. Улицы таили в себе опасность. Высотные здания, образуя

глубокие каньоны, казались мне смертельными ловушками. Мостовые могли провалиться. Трамваи опрокинуться. Что-то произошло с Артуро Бандини. Он теперь ходит только по улицам с одноэтажными зданиями. Он прилип к бордюру — подальше от неоновых вывесок. Страх был внутри меня, где-то глубоко. Я не мог вытряхнуть его из себя. Я смотрел на людей, спокойно разгуливающих по улицам, и дивился их безумию. Перебежав Хилл-стрит и оказавшись на площади Першинг, я вздохнул с облегчением. Высотных зданий поблизости нет. Земля может сотрясаться, но меня ничем не завалит.

На площади я присел передохнуть, закурил и обнаружил, что у меня даже ладони вспотели. «Колумбийский буфет» был в пяти кварталах отсюда. Но я знал, что не пойду туда. Внутри меня что-то сломалось. Я трус. Да, я так и сказал сам себе: ты трус. Ну и пусть. Лучше быть живым трусом, чем мертвым сумасшедшим. Эти люди шастают между бетонных небоскребов — кто-то должен предупредить, предостеречь их. Это повторится. Это должно произойти снова, следующее землетрясение разрушит город и похоронит навсегда. Это может начаться каждую минуту. Погибнет масса народу, но только не я. Потому что я буду держаться подальше от высотных зданий, от их смертоносных обломков.

Я поднимался на Банкер-Хилл к своему отелю, осматривая по пути каждое строение. Каркасные здания, похоже, смогли бы выстоять еще одно землетрясение. Они просто покосились, но не рухнули. Но вот кирпичные. То тут, то там были видны последствия стихии — упавшая кирпичная стена, обвалившаяся труба. Лос-Анджелес был обречен. Этот город отмечен печатью проклятья. Да, средней руки землетрясение не смогло разрушить его, но наступит день — и другое, более мощное, сотрет город с лица земли. Но меня они не заполучат, им не удастся подловить меня внутри бетонного здания. Я трус, и это никого не касается. Конечно, я трус, я и сам признаю — я трус, а вы будьте храбрецами, вы безумцы, давайте, продолжайте разгуливать вокруг да около этих огромных чудищ, и они прихлопнут вас. Сегодня, завтра, через неделю, через год, но они все равно похоронят вас, но только не меня.

А теперь послушайте человека, побывавшего в эпицентре землетрясения. Я сидел на крыльце отеля Алта-Лома и рассказывал его постояльцам о трагедии. Я видел собственными глазами, как это все происходило. Я видел смерть, видел кровь и ужасные раны. Я находился в шестиэтажном здании и крепко спал, когда случился первый толчок. Я выскочил в коридор и бросился к лифту. Он застрял. Из соседней двери выскочила женщина, но в

это время перекрытия рухнули, и ее ударило по голове стальной балкой. Я бросился к ней через завалы, подхватил на плечи и поволок вниз, шесть этажей, но я справился. Всю ночь я был со спасателями по колено в крови и горе. Я вытащил старуху, из-под обломков торчала только одна ее рука, просто как часть статуи. Мне пришлось проскочить через горящие двери, чтобы спасти девушку, которая потеряла сознание в ванне. Я перевязывал раненых, сопровождал бригаду спасателей в завалах, пробиваясь сквозь смерть к погибающим. Естественно, мне было страшно, но кто-то же должен был это делать. Это была кризисная ситуация, которая требовала действий, а не разглагольствования. Я видел такое! Тротуары на улицах трескались и раскрывались, как огромный рот, потом снова закрывались. Один старик попался в такую ловушку, ему прикусило ногу. Я подскочил к нему и сказал, чтобы он потерпел, пока я попробую разбить асфальт пожарным топором. Но было уже поздно. Асфальтовые челюсти сжались и откусили ногу по колено. Я оттащил бедолагу в безопасное место. А его нога до сих пор торчит из земли — кровавый сувенир. Да, все это я видел собственными глазами, и это было просто кошмаром.

Не знаю, верили они мне или нет. Для меня это не имело значения.

Я поднялся в свою комнату и обследовал все стены на предмет трещин. Затем проинспектировал и комнату Хеллфрика. Хозяин стоял у плиты и жарил мясо. Хеллфрик, я все видел собственными глазами. Во время первого толчка я находился на вершине аттракциона «горки». Наш вагончик выскочил из полозьев и застрял. Мы полезли вниз — я и еще одна девушка. Высота сто пятьдесят футов, у меня на спине висит девчонка, а все сооружение дергается, как при Виттовой пляске. Но я справился. Я видел гроб с маленькой девочкой под обломками. На моих глазах придавило старуху прямо в ее автомобиле, лишь осталась торчать рука, которой она показывала правый поворот. Троих мужиков похоронило прямо за покерным столом, все на моих глазах. «Ну и что?» — просипел Хэллфрик. Да ничего, кроме того, что это плохо, ужасно! Что? Не одолжу ли я ему пятьдесят центов? Я дал жалкому старику пятьдесят центов и тщательно обследовал стены в его комнате. Потом снова спустился в холл и осмотрел гараж и прачечную. Следы от землетрясения были, незначительные, но явно свидетельствующие о страшной катастрофе, которой не избежать Лос-Анджелесу. В ту ночь я не спал в своей комнате. Хэллфрик высунулся в окно и увидел меня, лежащего на травке, закутанного в одеяло. Он сказал, что я совсем спятил. Но тут же вспомнил, что одолжил у меня денег, и изменил

свое мнение. «Возможно, ты и прав», — решил Хеллфрик и выключил свет. Напоследок я слышал, как его тощее тело укладывается на кровати.

Мир начинал рушиться и превращаться в пыль. По утрам я стал посещать мессу. Я ходил на исповедь. Я принял Святое причастие. Я подыскал себе блочную церковь, приземистую и прочную, рядом с мексиканским районом, и там молился. Новый Бандини. Ах, жизнь! Ты горько-сладкая трагедия, ты ослепительная шляха, ведущая меня к гибели моей! Я на несколько дней отказался от сигарет. Купил новые четки. Жертвовал мелочь в помощь бедным. Я скорбел по миру.

«Дорогая матушка, ты так далеко, в родном Колорадо. Ах, любящая душа, ты подобна Богородице». У меня оставалось всего десять долларов, но пять из них я все равно отослал матери. Это были первые деньги, которые я когда-либо посылал домой. «Молись за меня, матушка, голубушка. Ибо только благодаря бдению твоих четок продолжает биться мое сердце. Темные дни наступили, матушка. Мир переполнен мерзостью. Но я изменился, и жизнь начинает преображаться. Много часов я провел с Господом, величая тебя, матушка. Не покидай меня в эту лихую годину! К сожалению, я должен заканчивать свое послание, о, любимая матушка, чтобы поспешить сотворить новену, которую я совершаю все эти дни, а также в пять часов по полудню вы всегда найдете меня лежащим ниц перед распятием нашего Спасителя и молящим Его о милосердии. Прощай, матушка! Не оставь без внимания мои мольбы. Поминай и меня в своих молитвах к Всевышнему дарующему и сияющему на небесах».

Итак, закончив свою эпистолу и опустив конверт в почтовый ящик, я спустился по Оливер-стрит, пересек пустырь и вышел на другую улицу почти без зданий, где лишь низкие заборы представляли кое-какую опасность. Зато впереди меня ожидала та часть города, высотные здания которого возносились к небесам, и избежать перехода через этот квартал не было никакой возможности. Оставалось увеличивать шаг, иногда припускаться бегом. В конце опасной улицы находилась маленькая церковь, где я и приступил к молитвам, совершая свою новену.

Часом позже я вышел на улицу, ободренный, умиротворенный, окрепший духом, и отправился домой тем же путем. Спешно минуя высоты, не торопясь вдоль заборов, еле волоча ноги по пустырю, где не мог не отметить

промысел Божий в стройных рядах пальмовых деревьев, тянувшихся вдоль тропинки. Наконец я вышел на Оливер-стрит и стал подниматься вверх вдоль унылых и тусклых каркасных построек. Что проку в том, что человек, приобретая весь мир, теряет при этом собственную душу? И вдруг рождается четверостишие:

Бери все радости земные,

Копи их до скончанья лет.

Они единого мгновенья рая

Не стоят — нет!

Как верно! Как очевидно! Благодарю тебя, о свет небесный, что озаряешь путь мой!

Стук по стеклу. Кто-то тарабанил в окно в доме, затененном высоким виноградником. Я обернулся, отыскал окно, и вот что я увидел: ослепительная улыбка, черные волосы, вождедеющий взгляд и манящие пасы длинных пальцев. Господи, а что случилось с моим животом? И как мне предотвратить неминуемый паралич мысли и этот дикий наплыв крови, приводящий все чувства в хоровод смятения. Но ведь я хочу этого! Я просто подохну без этого! Слышишь, ты, женщина за окном, я иду к тебе. Ты ослепила меня, прикончила ядовитым коктейлем из восторга, судорог и радости, и вот я поднимаюсь по шатким ступеням.

К чему оно, это раскаяние? Зачем ты печешься о добродетели? Если бы ты погиб при землетрясении, то кого это волнует, блядь?! Вот я отправляюсь в центр города, там толпятся небоскребы, давай, земля, трясись, пусть меня похоронят под их обломками вместе с моими грехами! И кому какое до этого дело, блядь?! Ни богу, ни человеку! Завалит ли меня кирпичами или повешусь я — зачем, когда и как — это вообще не имеет никакого значения.

И вдруг, как наваждение, минуя мое бешенство, явилась она — идея, моя первая здравая идея, первая во всей жизни, полноценная, ясная и сильная, строчка за строчкой, страница за страницей — история о Вере Ривкен.

Я лишь коснулся ее, и она стала разворачиваться легко и просто, без лишней усилий, напряжений, раздумий. Она раскрывалась, движимая своей внутренней гармонией, струилась, как кровь. Вот она. Наконец-то я имею ее.

Я иду и несу ее, не приставайте ко мне. Ох, парень, как я люблю ее, ох, Господи, как я люблю тебя и тебя, Камилла, и вас, и вас. Я иду и несу ее, и чувствую себя прекрасно, свежо, тепло, легко, отменно, я без ума от нее. За морями за лесами, только ты и я... Огромные словища, жирные словенции, прозрачные словечки... ура, ура, ура!

Взахлеб, неистово, бесконечно... Нечто огромное, длится и длится... Я барабанил по клавишам час за часом, час за часом до тех пор, пока плоть моя не взбунтовалась, это подкралось ко мне незаметно, постепенно проникло в мои кости, засочилось из меня, отвлекло и ослепило. Камилла! Я должен был заполучить эту Камиллу! Сорвавшись, я выскочил из отеля и бросился с Банкер-Хилла в «Колумбийский буфет».

— Опять пришел?

У меня перед глазами будто пленка, меня словно бы опутали паутиной.

— Почему бы нет?

Артуро Бандини — автор «Собачка смеялась», известный плагиатор Эрнеста Доусона и несомненный телеграммный жених. Есть ли смех в ее глазах? Ладно, забудь об этом, лучше вспомни о темнокожей плоти под ее блузкой. Я пил пиво и наблюдал ее за работой. Ухмылялся, когда она веселилась с мужиками, собравшимися возле фортепиано. Громко фыркнул, когда один из них положил руку ей на бедро. Да это мексиканец! Отвали, падаль, я тебе говорю! Не выдержал и подозвал ее. Она подошла, когда ей вздумалось, через пятнадцать минут. Будь ласков с ней, Артуро. Притворись.

— Хочешь еще чего-нибудь?

— Как поживаешь, Камилла?

— Нормально.

— Я бы хотел встретиться с тобой после работы.

— У меня другая встреча.

Мягче:

— Не могла бы ты отложить ее, Камилла? Мне очень нужно увидеть тебя.

— Извини.

— Пожалуйста, Камилла. Только сегодня. Это очень важно.

— Нет, Артуро. Я действительно не могу.

— Зато я могу, и ты встретишься со мной.

Она отошла. Я вскочил и отбросил стул в сторону. Она обернулась. Я взял ее на мушку указательным пальцем и проорал:

— Ты встретишься со мной! Ты, ничтожная надменная пивнушная шлюшка!
Ты встретишься со мной!

Черт бы ее побрал, она обязательно встретится со мной. Потому что я буду ее ждать. И я отправился на стоянку, сел на подножку ее автомобиля и стал ждать. Потому что не такая уж она и красавица, чтобы отказываться от свидания с Артуро Бандини. Потому что, боже мой, как я ненавижу ее характер!

И вот она появилась на стоянке, и Сэмми — бармен — был с ней. Она приостановилась, когда увидела меня, поднимающегося с подножки ее авто, взяла Сэмми за руку и придержала. Они пошептались. Похоже, будет драка. Отлично. Давай, ты, чучело буфетное, только попробуй дернуться, и я размажу тебя по своим подошвам. Я сжал кулаки и приготовился. Они подошли, Сэмми молча обогнул меня и забрался в машину. Камилла, глядя прямо на меня, открыла дверцу. Я покачал головой.

— Ты идешь со мной, мексиканка, — и схватил ее за запястье.

— Отвали! — закричала она. — Убери свои мерзкие лапы!

— Ты идешь со мной!

Между нами возник Сэмми.

— Может, это ей не по душе, юноша.

Удерживая Камиллу правой рукой, я поднял левый кулак к лицу Сэмми и проговорил:

— Слушай, ты мне никто. Так что держи свою вонючую пасть прикрытой.

— Не сходи с ума, — отстранился Сэмми. — Чего ты так распалился-то?

— Она пойдет со мной.

— Никуда я с тобой не пойду! — выкрикнула Камилла и попыталась сесть в машину.

Я схватил ее за обе руки, крутанул и отшвырнул в сторону, как элегантный танцор. Камилла сделала пару фуэте, но не упала. Она завопила, проклиная и обвиняя меня. Я изловчился, обхватил ее сзади и приподнял. Теперь руки ее были прижаты к телу. Она пиналась и старалась расцарапать мне ноги. Сэмми смотрел на меня с отвращением. Ясное дело, я и был отвратителен, но это моя проблема. Камилла плакала и боролась, но она была бессильна, скована по рукам и ногам. Когда она слегка притомилась, я отпустил ее. Она оправила платье, скрежеща зубами от ненависти и оскорбления.

— Ты идешь со мной, повторил я свое требование.

Тут из машины выбрался Сэмми.

— Это кошмар какой-то, — сказал он, взял Камиллу за руку и повлек за собой. — Пошли отсюда.

Я смотрел им вслед. Он был прав. Бандини — идиот, пес плешивый, скунс смердящий и шиз. Но ничего с этим я поделывать не мог. Отыскав в бардачке техпаспорт, я узнал адрес владелицы. Она проживала неподалеку от пересечения 24-й и Аламеда. Ничего с этим не поделаешь. Я вышел на Хилл-стрит и сел на трамвай, который шел до Аламеда. Мне даже стало интересно — новая черта моего характера: дикая, неизведанная черная бездна нового Бандини. Но через несколько кварталов исследовательские настроения исчезли. Я вышел неподалеку от товарных складов. Банкер-Хилл был в двух милях, но я пошел пешком. Добравшись до дома, я сказал себе, что порываю с Камиллой Лопес навсегда. Ты еще пожалеешь об этом, козявка ничтожная, потому что я прославлюсь. Я стану знаменит! Остаток ночи я посвятил работе.

Я вкалывал как проклятый. Стояла глубокая осень, но я не ощущал изменений. Каждый день светило солнце, ночью небо было чистым и голубым. Иногда на город опускался туман. Я снова перешел на фрукты. Японские торговцы открыли мне кредит, и у меня был огромный выбор на их лотках: бананы, апельсины, груши, сливы. Иногда я отоваривался сельдереем. У меня была припасена целая банка табака и новая трубка. Правда, о кофе не приходилось и мечтать, но меня это не угнетало. Мой новый рассказ появился в журнальных ларьках: «Давно утраченные холмы»! Конечно, это было уже не так волнительно, как появление «Собачка смеялась». Я лишь бегло пролистал присланный мне Хэкмутом авторский номер. Хотя не без удовольствия, естественно. Наступит день, когда на моем счету будет столько первоклассных рассказов, что я даже не буду помнить, где что опубликовано. «Привет, Бандини! Отличный рассказ вышел у тебя в свежем номере „Атлантик Мансли“». Бандини озадачен: «А что, разве у меня выходило что-то в „Атлантик“ в этом месяце? Ну, хорошо, спасибо...»

Ох уж этот Хэллфрик— мясоед, который никогда не отдает свои долги. Сколько я ему одолжил за последний мой период процветания, а теперь, когда я вновь беден, он снова пытается склонить меня к бартеру. Старый плащ, комнатные тапочки, душистое мыло — вот чем он пытается погасить свой долг. Я все отвергаю. «Господи, боже мой, Хэллфрик, мне нужны деньги, а не бэушные вещи». Его мясомания достигла апогея. Каждый день я слышу, как он копошится у плиты, поджаривая второсортную вырезку. Запахи прокрадываются в мою комнату, и мне дико хочется мяса. Я пойду к повару. «Хэллфрик, — скажу я ему, — как насчет того, чтобы поделиться со мной бифштексом?» Кусок настолько большой, что еле помещается в кастрюле, но Хэллфрик обязательно выдаст наглую ложь: «Я два дня не ел мясного». И мне придется обозвать его как-нибудь порезче. Вскоре он окончательно утратил мое уважение. Этот человек будет трясти своим красным одутловатым лицом, жалостно тарашить огромные глаза, но ни за что не поделится крохотным кусочком со своей тарелки. День за днем я работал, печатая страницу за страницей под натиском одуряющих ароматов поджаривающихся свиных отбивных, бифштексов, запекающихся вырезок, панированных ромштексов, тушеной печени с луком и всякого разного мяса на любой манер.

Однажды его мясомания отступила, вернулась джин-мания. Хэллфрик пил две ночи кряду. Я слышал, как он шарахается по комнате, пинает бутылки и разговаривает сам с собой. Затем он ушел и появился лишь на следующую ночь. По возвращении выяснилось, что он потратил всю пенсию, которую

получил накануне, купив автомобиль. Где и при каких обстоятельствах — этого Хэллфрик не помнил. Мы вышли на улицу посмотреть его приобретение. Это был огромный «Паккард» двадцатилетней давности, даже старше. Он стоял перед отелем как катафалк, покрышки лысые, дешевая черная краска вздулась под жарким солнцем. Кто-то с Мэйн-стрит втюхал ему этого уroda. Теперь он на мели, с огромным «Паккардом» на руках.

— Не хочешь купить? — спросил он меня.

— Ну уж нет.

Хэллфрик был угнетен, у него башка трещала с похмелья.

В ту ночь он пришел ко мне. Сел на кровать, его длинные руки свисали до пола. Он тосковал по родному Среднему Западу. Начались воспоминания об охоте на зайцев, о рыбалке, о старых и добрых временах, когда он был молод.

Затем разговор перешел на мясо. «Как насчет огромного толстого стейка, а? — говорил он трясущимися губами. — Вот такой, — уточнял он толщину, показывая двумя пальцами. — Зажаренный на открытом огне. Сверху чуть-чуть жирку. И слегка подгорелый для запашку. А, что скажешь?»

— Я бы не отказался.

Хэллфрик встал.

— Тогда пошли со мной.

— У тебя что, есть деньги?

— Нам не нужны деньги. Мы хотим жрать.

Я схватил свитер и последовал за ним. Мы вышли из отеля и сели в его катафалк. Я заколебался.

— Куда мы едем, Хэллфрик?

— Брось, предоставь это мне.

— Без проблем, — сказал я и захлопнул дверцу.

— Проблемы! — ухмыльнулся Хэллфрик. — Я же сказал тебе, я знаю, где водятся наши стейки.

Мы понеслись в лунном свете через Вилшир к Хайленду, затем через Хайленд до Кахуэнга-Пасс. По обе стороны дороги тянулись равнинные луга долины Сан-Фернандо. Хэллфрик свернул на одинокую проселочную дорогу, и мы покатали вдоль высоких эвкалиптов по направлению к фермерским домикам и пастбищам. Примерно через милю дорога закончилась. Фары высветили ограждение из колючей проволоки. Хэллфрик с трудом развернул машину и вылез. Открыв заднюю дверцу и откинув сиденье, он стал шарить в ящике с инструментом.

Я повернулся и стал смотреть, что он ищет.

— Ты что задумал, Хэллфрик?

Он выбрался из машины, в руках у него был молоток.

— Жди здесь.

Хэллфрик пролез под ограждение и побежал по пастбищу. В ста ярдах в лунном свете маячил хлев. Теперь я понял, на что он покушался. Выпрыгнув из машины, я стал звать его. Он зло цыкнул на меня, и на цыпочках стал подкрадываться к двери хлева. Проклиная и понося его, я ждал. Через некоторое время я услышал мычание коровы. Это был жалобный стон. Затем последовали глухой удар и топот копыт. Из дверей хлева вывалился Хэллфрик. На плечах у него лежала темная туша, клонящая его к земле. За ним, продолжая мычать, выскочила корова. Хэллфрик попробовал бежать, но тяжелая ноша заставила его перейти на быстрый шаг. Корова преследовала разбойника, тычась носом ему в спину. Хэллфрик повернулся и яростно пнул несчастное животное. Корова остановилась, обернулась к хлеву и призывно замычала.

— Ты придурок, Хэллфрик! Ты чертов кретин!

— Помоги мне.

Я приподнял витки проволоки, чтобы он смог протиснуться вместе со своей добычей. Это был теленок, кровь била ручьем из глубокой пробоины прямо между глаз. Глаза теленка остались широко открыты, и я мог видеть в них отражение луны. Это было хладнокровное убийство. Мне стало плохо и

страшно. Когда Хэллфрик запихивал тушу на заднее сиденье, тошнота подкатила к горлу. Я слышал, как голова теленка ударилась о дверцу. Это было так противно. Я стал обыкновенным убийцей.

Всю обратную дорогу Хэллфрик ликовал. Я таращился на перепачканный кровью руль, и пару раз мне показалось, что теленок дрыгался на заднем сиденье. Я зажал голову руками и пытался стереть из памяти беспомощные стенания матери теленка и мягкий лик смерти в его глазах. Хэллфрик несся как угорелый. На Беверли мы обогнали черный автомобиль, который плелся еле-еле. Это оказалась патрульная машина полиции. Я стиснул зубы и приготовился к наихудшему, но они не погнались за нами. Правда, мне было настолько плохо, что я даже не почувствовал радости по этому поводу. Одно было очевидно: Хэллфрик совершил убийство, и я ему помогал. Въехав на Банкер-Хилл, мы свернули на аллею и вырулили к стоянке, прилегающей к задней стене нашего отеля. Хэллфрик, потирая руки, выбрался из машины.

— Сейчас я преподам тебе урок свежевания, сынок.

— Ты суший дьявол, — сказал я.

Мне пришлось постоять на стреме, пока Хэллфрик оборачивал голову теленка газетами. Потом он взвалил тушу себе на плечи и потащил ее темным коридором к себе в комнату. Я застелил грязный пол в его номере газетами, и он уложил на них свою добычу. Хэллфрик стоял над окровавленным трупом и скалил зубы, разглядывая заляпанные кровью штаны, рубашку и руки.

Я посмотрел на бедное животное. Шкура в черно-белых пятнах, а ножки еще совсем тоненькие. Из слегка приоткрытого рта выглядывал розовый язычок. Я закрыл глаза, выскочил из комнаты Хэллфрика, влетел в свою и рухнул на пол. Я лежал и содрогался, представляя себе старую корову на поле в лунном свете, ее жалобное мычание. Убийство! Я и Хэллфрик были повязаны. Нет, он мне ничего не должен. Это были кровавые деньги — не для меня.

После той ночи я с Хэллфриком держался очень холодно. Никогда не заходил в его комнату. Свою дверь всегда держал на засове, чтобы он не мог вломиться без предупреждения. На стук не отвечал. Встретившись в коридоре, мы только проборматовали приветствия. Он задолжал мне почти три доллара, но я так и не получил их назад.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Хорошая новость от Хэкмута. Еще один журнал выказал желание напечатать «Давно утраченные холмы», правда, в сокращенном виде. Сотня долларов. Я снова богат. Пришла пора исправлять позорное прошлое. Я послал матери пять долларов. Получив из дома письмо с благодарностями, я разревелся. Слезы текли из моих глаз вместе со словами, которыми я изливался в ответном послании. В конце концов я послал еще пять долларов. Теперь я был доволен собой. Все-таки были во мне хорошие качества. Я видел их — моих биографов, беседующих с моей матушкой, очень старой леди в кресле на колесиках: он был хорошим сыном, мой Артуро, настоящий кормилец.

Артуро Бандини — прозаик. Сам зарабатывает на жизнь писанием рассказов. Но теперь он работает над книгой. Потрясающий роман. Роман-предвосхищение. Роман-предупреждение. Изумительная проза. Ничего подобного не появлялось со времен Джойса. Стоя перед портретом Хэкмута, я перечитывал написанное за день. Часами сочинял варианты посвящения: Д. К. Хэкмуту, открывшему меня; Д. К. Хэкмуту с восхищением; Д. К. Хэкмуту, гению и человеку. Я представлял себе этих нью-йоркских критиков, обступающих Хэкмута в его клубе. Вы поставили на победителя, Хэкмут, этот парнишка Артуро Бандини с побережья придет первым. Хэкмут улыбается, подмигивая.

Шесть недель — и каждый день по несколько восхитительных часов, три, четыре, а иногда и по пять часов вдохновения, страница прибывает за страницей, и все остальные желания спят. Я ощущал себя призраком, бредущим по земле, человеколюбивым и звероподобным, и чудные волны нежности накатывали на меня, когда я общался с людьми или просто гулял по улицам среди толпы. Всемогущий Боже, даруй мне чистый слог, и эти печальные, одинокие люди услышат меня и станут счастливее. Так проходили мои дни — полные грез, фосфоресцирующие дни. А порой меня охватывала такая нестерпимая радость, что я вынужден был гасить свет и давать волю слезам, и странное желание умереть вдруг возникало во мне.

Вот таков Бандини, пишущий свой роман.

Как-то ночью в дверь постучали, я открыл, и там стояла она.

— Камилла!

Она вошла и села на кровать, в руках — пачка бумаг. Осмотрела комнату: так вот, значит, как он живет. Увиденное поразило ее. Посидев, Камилла поднялась и прошлась по комнате, выглянула в окно, потом сделала еще кружок — прекрасная девушка, стройная Камилла, теплого оттенка темные волосы — я стоял и не мог оторвать глаз от чудного создания. Но зачем она пришла? Уловив мой немой вопрос, Камилла села на кровать и улыбнулась мне.

— Артуро, почему мы все время ссоримся?

Я не мог ответить на этот вопрос. Начал плести что-то о темпераментах, но она покачала головой и забросила ногу на ногу. Впечатление, произведенное мимолетным движением ее изящных бедер, вклинилось в мое сознание и вызвало насыщенно-удушающее чувство, неистово-горячее желание прикоснуться к ним. Каждое ее движение — легкий поворот шеи, покачивание больших грудей под блузкой, изящные руки, раскинутые на кровати, растопыренные пальцы — все эти детали взволновали меня, накатила болезненно-приятная обволакивающая тяжесть, и я оказался в ступоре. Ее голос, сдержанный, с оттенком насмешки, пронизывал меня и звенел в крови и костях. Я припомнил мир и спокойствие нескольких прошедших недель, и они показались мне совершенно нереальными, я просто загнипотизировал сам себя, и чтобы понять это, достаточно было взглянуть в черные глаза Камиллы, в которых смешались и презрение, и надежда, и вождделение.

Я чувствовал, что это не просто визит вежливости, что-то было, что привело ее ко мне. И вскоре все прояснилось.

— Ты помнишь Сэмми?

Естественно, я помнил его.

— Он тебе не понравился.

— Да нет, почему...

— Он хороший, Артуро. Если бы ты узнал его получше, ты бы понял это.

— Надеюсь.

— А вот ты понравился ему.

После той потасовки на стоянке в это верилось с трудом. Я припомнил некоторые детали относительно их взаимоотношений: как она улыбалась ему во время работы, как беспокоилась о нем той ночью, когда мы подвозили его домой.

— Ты любишь этого парня, так ведь?

— Не совсем.

Она отвела взгляд, вроде стала осматривать комнату.

— Да, любишь.

Неожиданно меня охватила ненависть к ней, потому что она причиняла мне боль. Девчонка! Она разорвала сонет Доусона, который я отпечатал для нее, показывала мою телеграмму всем подряд в своем «Колумбийском буфете». Она выставила меня полным идиотом на пляже. Она сомневалась в моей мужской дееспособности, эти сомнения и презрение в ее глазах — есть одно и то же. Я смотрел ей в лицо и думал, какое бы это было наслаждение — ударить ее, со всей силы кулаком захватить прямо ей по носу и губам.

И снова она заговорила о Сэмми. Его шансы в жизни всегда были самые гнилые. Он мог бы добиться всего, если бы не слабое здоровье.

— А что с ним такое?

— Туберкулез.

— Сурово.

— Ему недолго осталось.

А мне было наплевать.

— Все мы когда-нибудь умрем, — процедил я.

Я обдумывал способы вышвырнуть ее, например, сказать: если ты приперлась поведать мне о своем парне, то можешь убираться к черту, потому что мне это неинтересно. Я подумал, что было бы здорово: приказать ей выметаться, и она, вся такая очаровательно-своеобразная, вынуждена будет уйти, потому что этого захотел я.

— Сэмми нет в городе. Он уехал.

Если она рассчитывала, что я поинтересуюсь его местонахождением, то глубоко ошибалась. Я забросил ноги на стол и закурил.

— А как насчет остальных твоих дружков? — вырвалось у меня, о чем я сразу же пожалел.

Я попробовал смягчить оплошность невинной улыбкой. Уголки ее губ ответили взаимностью, но с большим усилием.

— У меня нет больше никаких дружков, — проговорила она.

— Конечно, — поспешил согласиться я, с легкой долей сарказма. — Я все понимаю. Забудем эту опрометчивую ремарку.

Некоторое время она молчала. Я изображал беззаботность, что-то насвистывая.

— Почему ты такой злой? — вдруг снова заговорила она.

— Злой? Дорогуша моя, я в одинаковой степени люблю всех тварей: как людей, так и животных. В моей системе отсутствует и мельчайшая доля враждебности. И, раз уж на то пошло, нельзя быть злым и великим писателем одновременно.

Издавка блеснула в ее глазах.

— А ты великий писатель?

— Ну, этого тебе никогда не понять.

Она закусила нижнюю губу своими белыми острыми зубами и бросила взгляд сначала на окно, потом на дверь, словно зверек, пойманный в ловушку.

— Вот поэтому я и пришла к тебе, — сказала она, снова улыбаясь.

Ее пальцы мяти и теребили лежащие на коленях конверты, и это возбуждало меня, ее собственные пальчики касались ее колен, ласкали и поглаживали ее собственную плоть.

Камилла принесла два конверта. Раскрыв один из них, она извлекла что-то вроде рукописи. Я взял бумаги, это был рассказ Сэмуэля Виггинса, обратный адрес: до востребования, Сан-Хуан, Калифорния. Назывался рассказ «Трезвенник Гатлинг» и начинался так: «Трезвенник Гатлинг не искал себе проблем, чего не скажешь о других конокрадах из Аризоны. Лучше уберите подальше свои пушки и затайтесь, если вы увидели одного из детинушек Гатлинга. Проблема проблем была в том, что неприятности сами находили Гатлингов. Они не терпели Техасских рейнджеров в Аризоне, поэтому предпочитали сначала стрелять, а уж потом разбираться, кто кого убил. Так они поступали и в Штате Одинокой звезды, где мужчины были мужчинами, а женщины любили готовить еду для таких ловких наездников и метких стрелков, как Гатлинг. А он был самым крутым мужиком в штате».

Это был первый абзац.

— Белиберда, — резюмировал я.

— Помоги ему.

И Камила поведала, что в этом году автор умрет, что он уехал из Лос-Анджелеса и поселился где-то на краю пустыни Санта-Эн. Живет в лачуге и лихорадочно пишет. Всю свою жизнь он мечтал писать. И вот сейчас, когда осталось слишком мало времени, его мечта сбылась.

— Ну а мне-то что до этого?

— Но ведь он умирает.

— Никто не вечен.

Я посмотрел вторую рукопись. Примерно то же самое.

— Полная чушь, — сказал я, покачивая головой.

— Да я знаю. Но, может быть, ты как-нибудь исправишь? Он отдаст тебе половину от гонорара.

— Деньги мне не нужны. Я получаю за свои вещи.

Она встала, приблизилась, положила руки мне на плечи и заглянула в лицо. Ноздри мои уловили ее теплое душистое дыхание, я увидел свое отражение в

огромных глазах, и неистовое, чуть ли не до тошноты, Желание скрутило меня.

— А для меня ты сделаешь это?

— Для тебя? Для тебя — да.

Она поцеловала меня. Бандини — марионетка — получает авансом обильно-страстный поцелуй за услуги, которые он намерен оказать. Я аккуратно отстранился.

— Нет необходимости целовать меня. Я сделаю, что смогу.

Пока она стояла перед зеркалом и подкрашивала губы, я рассматривал рукописи и, когда увидел обратный адрес, у меня возникли кое-какие соображения на сей счет. Сан-Хуан, Калифорния.

— Я напишу письмо-рецензию на его произведения.

— Нет, этого не надо делать. Я зайду к тебе, заберу бумаги и сама отошлю ему.

Вот что она мне ответила, но ты не проведешь меня, Камилла, потому что память о той злополучной ночи на пляже просто написана на твоей презрительной физиономии. И за это я ненавижу тебя. Ох, Господи, как ты мне омерзительна!

— Хорошо, — согласился я. — Думаю, так будет лучше. Приходи завтра вечером.

Она язвительно ухмылялась — не лицом, не губами, но всем нутром своим.

— В котором часу мне прийти?

— Когда ты заканчиваешь работу?

Она защелкнула свою сумочку и бросила на меня беглый взгляд.

— Ты же знаешь, когда я заканчиваю.

Я поймею тебя, Камилла. Ох, как я поймею тебя когда-нибудь!

— Ну, вот тогда и приходи.

Она подошла к двери и взялась за ручку.

— Спокойной ночи, Артуро.

— Я провожу тебя до вестибюля.

— Не надо этих глупостей.

Дверь закрылась. Я стоял посередине комнаты и вслушивался в удаляющиеся по лестнице шаги. Я чувствовал, что бледнею. Страшное оскорбление. Безумие охватило меня, я запустил пальцы в волосы, и душераздирающий вопль вырвался из моей глотки, когда я сжал кулаки. Я стал метаться по комнате, то осыпая свою голову ударами кулаков, то крепко обнимая себя, я пытался вытравить ее мерзкий образ из своей памяти, задушить любое ее присутствие в своем сознании, я сам задыхался от ненависти.

Но этому вулкану ненависти нужно было выплеснуться, и поэтому больной человек на краю пустыни должен поплатиться за все. Я поимею и тебя, Сэмми. Я сотру тебя в порошок, я сделаю так, что ты пожалеешь, что не подох и не был похоронен давным-давно. Перо могущественнее меча, Сэмми-бой, и перо Артуро Бандини еще не утратило силу. Теперь мое время пришло, сэр. И вы получите все сполна.

Я сел и дочитал его писанину. Я сделал замечания по поводу каждого словосочетания, предложения и абзаца. Писал он скверно, первые потуги, топорная работа, мутная история, нелепая и абсурдная. Час за часом я просиживал над рукописью, истребляя сигареты и безумно хохоча над автором, злорадствуя и весело потирая руки. Ну, парень, я и закатаю тебе! Подскочив со стула, я заходил по комнате, давась от самодовольства и боксируя с тенью: «Лови, Сэмми-бой, и еще, а как тебе нравится мой левый хук? А что скажешь насчет встречного с правой? Бац! Шмац! Хоп! Шлеп! Аут!»

Отвернувшись от поверженного, я наткнулся взглядом на смятую кровать, там сидела Камилла. Чувственные контуры углубления, оставленного на синем шенилевом покрывале, повторяли формы ее бедер и ягодиц. Я мгновенно позабыл о Сэмми. Обуреваемый диким желанием, я рухнул на колени перед кроватью и с благоговением стал покрывать поцелуями вождественную впадину.

— Камилла, я люблю тебя!

Когда возбуждение выплеснулось, оставив за собой пустоту, я поднялся с колен, презирая себя, грязного и отвратительного Артуро Бандини, ничтожного пса. Со зловещей решимостью я уселся за стол и стал строчить критическое письмо, адресованное Сэмми.

«Дорогой Сэмми,

Эта маленькая шлюшка была у меня сегодня ночью, вы знаете о ком я, Сэмми, да, об этой мужланке с восхитительной фигурой и мозгами макаки. Она представила мне рукопись, предположительно написанную вами. Кроме того, она сообщила, что над вами нависла смертельная опасность. Учитывая все эти заурядные обстоятельства, я должен был бы назвать сложившуюся ситуацию трагической. Но, ознакомившись с содержанием ваших рукописей, я вынужден заявить прямо и откровенно, что ваш преждевременный уход есть большая удача для всех. Вы не можете писать, Сэмми. И мой вам совет — посвятите остаток дней приведению в порядок своей глупой души, перед тем как покинуть этот мир, который, кстати, вздохнет с облегчением в связи с вашим отбытием. Хотелось бы сказать чистосердечно, мне жаль вас. Конечно, было бы неплохо оставить потомкам нечто вроде памятника о своем пребывании на этой брэнной земле, но так как невозможность этого столь очевидна, мой вам совет: проведите финальные дни без горечи. Судьба сыграла с вами злую шутку — смиритесь. Надеюсь, вы и сами рады, что скоро все будет кончено и факт вашего бумагомарательства никогда не получит широкой огласки. Уверен, что выражу чаяния всех благоразумных и цивилизованных людей, когда попрошу вас уничтожить кучу ваших литературных испражнений и забыть навсегда о пере и бумаге. То же самое касается и печатной машинки, если таковая у вас имеется. Ибо даже распечатка вашей рукописи является позорным поступком. Если же, не смотря ни на что, вы сочтете возможным упорствовать в своих жалких потугах, ради всего святого, пришлите мне результаты вашего усердия. По крайней мере, я осведомлен о ваших обстоятельствах. Не умышленно, конечно».

Вот так— изысканно и убийственно исчерпывающе. Я собрал листы рукописи и вместе с письмом засунул в конверт, запечатал его, написал адрес: «Сэмуэлю Вигеннсу, до востребования, Сан-Хуан, Калифорния». Определив конверт в задний карман брюк, я вышел из отеля и направился к почтовому ящику на углу квартала. Было чуть больше трех часов

бесподобного утра. Белесые звезды на бледно-голубом небе казались совершенно потерянными, их кротость была так волнующа, что я даже приостановился, пораженный их необычной красотой. Ни один листик не шевелился на грязных пальмах. Стояла полная тишина.

Все лучшее, что было во мне, встрепенулось в этот момент и взволновало сердце. Эти чувства — моя единственная надежда в непроглядной бездне личного существования. Вот она, бесконечная безмятежность природы, ее безразличие к этому огромному городу, и пустыня, простирающаяся под этими улицами и окружающая нас, поджидает смерти нашего города, чтобы снова засыпать все вечным песком. И вдруг с ужасающей ясностью я осознал всю глубину жалкой судьбы человечества. Вечная пустыня лежала терпеливым белым зверем, поджидая гибели рода человеческого, заката цивилизации и погружения ее во тьму небытия. И тогда люди представились мне настоящими храбрецами, и я испытывал гордость, что нахожусь в одном ряду с ними. И все зло мира показалось мне вовсе не злом, а неизбежной и необходимой составляющей в бесконечной борьбе с пустыней.

Я посмотрел на юг, в направлении больших звезд, я знал, что в том же направлении находится пустыня Санта-Эн, что именно там, прямо под большими звездами в жалкой лачуге лежит человек, такой же, как и я, но который совсем скоро будет поглощен этой пустыней, и в руках у меня написанные им строки — проявление его борьбы против этого неумолимого безмолвия, на схватку с которым мы все выброшены. Убийца или официант, или писатель — значения не имеет, потому что его судьба — это наша общая судьба, и его поражение есть мое поражение. Нас миллионы в этом городе темных окон, таких как Сэмми, таких как я и таких же незаметных как отмирающие травинки. Жизнь — тяжелая задача. Смерть — решающее испытание. И Сэмми скоро предстояло его пройти.

Я стоял лицом к лицу с почтовым ящиком и скорбел по Сэмми и по себе, и по всем живущим и умершим тоже. Прости меня, Сэмми! Прости дурака! Я вернулся в отель и потратил три часа, сочиняя самую лучшую рецензию, на которую был только способен. Я не писал, что это плохо, а это не так. Я говорил, что, на мой взгляд, это стало бы лучше, если бы... и так далее и тому подобное. Лег спать я только около шести, но это был приятный и счастливый сон. Какой все же я прекрасный человек! По-настоящему! Великий, тихий, мягкий, вселюбящий, будь то человек или животное.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

И снова мы не виделись с Камиллой неделю. Между тем я получил письмо от Сэмми, с благодарностью за дельные замечания. Сэмми — ее истинная любовь. Он тоже прислал мне совет: «Как вы там уживаетесь с этой мексикашкой? В общем-то, она неплохая бабенка, особенно когда выключишь свет. Проблема в вас, мистер Бандини, просто вы не знаете, как обходиться с такого рода женщинами. Вы слишком цацкаетесь с ними. Не понимаете вы мексиканских женщин. Они не любят, когда с ними обращаются по-человечески. Если вы любезничаєте с такими девками, они втаптывают вас в грязь».

Я работал над книгой, время от времени прерываясь, чтобы перечитать послание. Как раз в один из таких перерывов заявила Камилла. Было около полуночи, вошла она без стука.

— Привет.

— Привет, тупица.

— Работаешь?

— А что, не похоже?

— Сердишься?

— Нет, противно немножко.

— Из-за меня?

— Естественно. Ты посмотри на себя.

На ней был жакет, под ним некогда белая рабочая блузка, вся в пятнах и мятая. Один чулок ослаб и морщился на коленке. Осунувшееся лицо, помада на губах съедена. Пальто заляпано пухом и пылью. На ногах дешевые туфли на высоченном каблуке.

— Ты так старательно косишь под американку. Зачем тебе это? Будь сама собой.

Она подошла к зеркалу и тщательно осмотрела себя.

— Я устала, — отозвалась она наконец. — Сегодня был трудный день.

— А эти туфли? — не унимался я. — Носила бы лучше ту обувь, для которой созданы твои ноги, — гуарачи. И вся эта штукатурка на лице. Выглядишь глупо — дешевая пародия на американку. Пугало. Если бы я был мексиканцем, оторвал бы тебе башку. Ты же позоришь свой народ.

— Кто ты такой, чтобы поучать меня? — не выдержала она. — Я такая же американка, как и ты. Ты и сам не стопроцентный американец. Посмотри на свою кожу. Ты вылитый макаронник. И глаза у тебя черные.

— Карие.

— Нисколючко! Они черные! И волосы черные!

— Каштановые.

Она скинула пальто, плюхнулась на кровать, вытащила сигарету и стала шарить в поисках спичек. Коробок лежал рядом со мной на столе. Она ждала, что я поднесу ей огня.

— Ты же не парализованная, — сказал я. — Сама можешь позаботиться о себе.

Она прикурила и уставилась в потолок. Дым вырывался из ее ноздрей с бесшумной нервозностью. На улице было туманно. Издалека доносились звуки полицейских сирен.

— Думаешь о Сэмми? — спросил я.

— Возможно.

— Что, нет другого места для этого занятия? Тебя никто здесь не держит.

Она затушила сигарету, скрутив и выпустив ей потроха.

— Господи, какой ты противный! — прошипела она, и слова эти были похожи на раздавленный окурок. — Должно быть, ты до крайности несчастен.

— Ну ты и дура.

Она вытянулась и скрестила ноги. Юбка задралась, обнажив резинки чулок и полосочку шириной в дюйм или два смуглой плоти. Ее волосы расплескались по подушке, словно опрокинутая бутылочка чернил. Она лежала и наблюдала за мной, утонув головой в подушке и улыбаясь. Потом подняла руку и поманила меня пальчиком.

— Иди ко мне, Артуро, — ее голос прозвучал тепло и нежно.

Я покачал головой.

— Нет, спасибо. Мне и тут удобно.

Минут пять она не спускала с меня глаз, тогда как я таращился в окно. Я мог бы овладеть ею прямо сейчас, да, Артуро, достаточно оторвать задницу от стула и лечь с ней рядом... но между нами была та ночь на пляже и листок с отпечатанным сонетом, и телеграмма-предложение, и вспоминая о них теснились в комнате, как неотвязные кошмары.

— Испугался?

Я рассмеялся.

— Тебя, что ли?

— Испугался.

— Вот уж нет.

Камилла раскинула руки, и мне показалось, будто она вся обнажилась передо мной, что только заставило меня еще глубже уйти в себя. Правда, я отложил в памяти ее новый образ, такой соблазнительный и нежный, на будущее.

— Послушай, я занят. Видишь? — и я похлопал по стопке отпечатанных листов, лежащей возле машинке.

— Значит, и ты боишься, — задумчиво проговорила она.

Молчание.

— Что-то с тобой не так, — вдруг заговорила она.

— Что именно?

— Ты педик.

Я встал и приблизился к ней.

— Это ложь.

Теперь мы лежали вместе. Она насильовала меня своим презрением, просачивающимся и через поцелуй, и сквозь язвительную улыбку и насмехающиеся глаза. Это продолжалось до тех пор, пока я не превратился в бревно, в котором не осталось ни единого чувства, кроме ужаса и трепета перед ней. Я осознавал, что ее красота безгранична, что сила ее убеждений несокрушима. Ее присутствие странно влияло на меня, я начинал чувствовать себя посторонним. Потому что она принадлежала этим тихим ночам, эвкалиптовым деревьям, пустынным звездам, земле и небу, даже туману за окном, а я появился здесь только для того, чтобы стать писателем, заработать денег, прославить свое имя, ну, в общем, вздор всякий. Я понял, что она настолько лучше и честнее меня, что даже чуть не сбил сам от себя и уже не мог глядеть в ее нежные глаза. Я еле унял дрожь, когда ее смуглые руки обвилились вокруг моей шеи и длинные пальцы погрузились в волосы. Нет, не мог я целовать ее. Она целовала меня — автора «Собачка смеялась». Потом она взяла мою руку и прижалась губами к ладони, а затем поместила ее в ложбинку между грудями. Подставив мне свои губы, она ждала. И что сделал Артуро Бандини? Этот непревзойденный писатель погрузился в самую пучину своего необузданного воображения, этот романтик Артуро Бандини, напичканный умнейшими фразами, вдруг промямлил с некоторой игривостью:

— Алло.

— Алло? — удивилась она. — Алло? — и рассмеялась. — Ну, что ж... Как поживаешь?

Ох уж этот Артуро! Рассказчик небылиц.

— Превосходно, ответил он.

И что же дальше? Где же желание? Где страсть? А вот она уйдет, и через некоторое время они явятся. Черт бы тебя подрал, Артуро! Ты ничего не можешь! Вспомни своих непревзойденных предков! Соответствуй своему предназначению. Я чувствовал ее ищущие руки и старался помешать им, сдерживал в неистовом страхе. Тогда она попробовала еще раз поцеловать

меня. С таким же успехом можно было прильнуть губами к холодной ветчине. Я был жалок. Она оттолкнула меня.

— Отпусти меня.

Отвращение, ужас и унижение — все смешалось во мне, забурлило, и я вцепился в Камиллу, привлек к себе и прижался своими холодными губами к ее теплому рту. Она пыталась вырваться, но я не отпускал, спрятав лицо у нее на плече и сгорая от стыда. Она продолжала бороться, я чувствовал, как ее презрение перерастает в лютую ненависть. И вдруг это стало возбуждать меня. Я захотел ее, и с каждым новым всплеском ее гнева мое желание росло. Я был счастлив — ура, Артуро! Радость и сила, сила через радость, восторг от ощущения этой силы в себе, экзальтированное самодовольство и наслаждение уверенностью, что я могу овладеть ею прямо сейчас, если только захочу. Но я не хотел этого, так как уже обрел свою любовь. Мощь и сила Артуро Бандини ослепила меня. Я отпустил Камиллу и спрыгнул с кровати.

Она села и стала прибирать волосы. В уголках рта у нее скопилась белая слюна. Поскрипывая зубами, она боролась с желанием закричать. Но меня это не пугало, пусть себе кричит, если ей хочется, потому что Артуро Бандини не педик, и все с ним в порядке. Да в нем страсти как в шести мужиках. У него на лице написано, что он отличный парень, великий писатель, мощный любовник, он умеет жить и умеет писать. Я наблюдал, как она привела в порядок свою одежду, встала с кровати и, тяжело дыша, еще не оправившись от испуга, подошла к зеркалу, будто бы хотела удостовериться, что это действительно она.

— Ты такой же урод, как и все, — сказала она, переводя дух.

Я сел за стол и принялся кусать ногти.

— Я-то думала, что ты другой. Ненавижу насилие.

Насилие — ха! Какая разница, что там она себе думает? Главное доказано — если бы захотел, я поимел бы ее, а остальное неважно. Кроме того, что я великий писатель, я еще способен на нечто большее. И теперь я уже не боялся ее и мог смотреть прямо в лицо, как мужчина смотрит в лицо женщины. Она ушла, не сказав больше ни слова, а я остался сидеть, погрузившись в райское блаженство. Во мне бушевала оргия опьяняющего самодовольства — мир был так велик и полон доступных мне удовольствий.

Ах, Лос-Анджелес! Твои пустынные улицы покрыты пылью и туманом, но я больше не одинок. Ты подожди немного, и вы, призраки, обитающие в моей комнате, потерпите, очень скоро это случится. А эта Камилла, пусть она пока потешается со своим Сэмми, пустынным отшельником, кропателем дешевых рассказиков, но наступит момент, когда ей придется отвесть настоящего писателя — меня. И это обязательно произойдет, это так же очевидно, как то, что Бог обитает на небесах.

Я не помню, может, неделя прошла, может — две. Я знал, что она вернется, и не ждал ее. Я жил своей жизнью, написал еще несколько страниц романа, прочитал пару книжек. Я был спокоен — она появится. И произойдет это обязательно ночью. Ее образ никогда не возникал во мне на фоне дневного света. Я предчувствовал ее появление, как предчувствовал появление луны. И она заявила. В окно стукнула пущенная снизу галька. Я открыл створку, выглянул наружу и увидел Камиллу, стоящую под окном в свитере поверх белого официантского халата. Она тарасилась на меня, запрокинув голову и приоткрыв рот.

— Чего делаешь? — спросила она.

— Просто сижу.

— Сохнешь по мне?

— Нет. А ты по мне?

Она рассмеялась.

— Немного.

— Почему немного?

— А ты злой.

Мы решили прокатиться. Камилла поинтересовалась, имел ли я когда-нибудь дело с оружием. Я сказал, что не имел. Мы поехали в тир на Мэйн-стрит. Она была первоклассный стрелок, и хозяин заведения — парень в кожаном пиджаке — хорошо знал ее. А я не мог попасть ни в одну мишень. Платила Камилла, и мои промахи нервировали ее. Она хвасталась: держа револьвер

под мышкой, била картонному быку прямо в глаз. Я сделал пятьдесят выстрелов и все промазал. Тогда она попыталась показать мне, как надо правильно держать оружие. Я стал вырывать у нее ружье, ствол беспорядочно заплясал, направляясь то в одну сторону, то в другую. Парень в кожаном пиджаке нырнул под стойку и завопил:

— Эй, осторожно! Смотри куда целишься!

Ее раздражение становилось оскорбительным. Достав пятьдесят центов (у нее был полный карман чаевых), она сказала:

— Попробуй еще раз, но если промахнешься, я не стану платить.

Денег у меня с собой не было, и я положил ружье на стойку.

— Да плевал я.

— Он слизняк, Тим, — обратилась она к хозяину. — Только и может, что стишки писать.

Тим, несомненно, признавал только тех людей, которые умели стрелять. Он посмотрел на меня с отвращением и промолчал. Я схватил винчестер, прицелился и стал поливать мишень-быка свинцом. Находясь в шести футах от меня на столбе высотой примерно в три фута, бык оставался целехоньким. Если пуля попадала в глаз, то должен был активизироваться звонок. Ни звука. Я опустошил магазин, едкий смрад пороха ударил мне в нос, и я сморщился. Тим и Камилла посмеялись над слизняком. К тому времени за нашими спинами уже собралась толпа. Все они разделяли раздражение Камиллы, так как чувство это весьма заразно, даже я его подхватил. Камилла обернулась, увидела собравшихся и покраснела. Ей было стыдно за меня, она была раздосадована и унижена. Украдкой она шепнула мне, что мы уходим, и ринулась сквозь толпу. Шла она быстро, опережая меня шагов на шесть. Я следовал за ней не торопясь. Ха-ха, ну и что из того, что я не умею стрелять из этого дебильного ружья, что мне до того, что эти хари посмеялись надо мной, и она смеялась, да плевать мне на них. Потому что кто из этих тупорылых свиней, этих ухмыляющихся болванов с Мэйн-стрит, кто из них сможет сложить такой рассказ, как «Давно утраченные холмы»? Ни один из них! Так что насрать мне на их презрение.

Автомобиль был припаркован возле кафе. Когда я подошел, Камилла уже запустила двигатель. Я встал на подножку, но она не стала дожидаться, пока

я усядусь. Взглянув на меня с ехидной усмешкой, она отпустила сцепление. Я плюхнулся на сиденье, но меня тут же швырнуло на ветровое стекло, так как Камилла врезалась в стоящую впереди машину. Мы были зажаты между двумя автомобилями. Камилла включила заднюю передачу и стукнула машину, что стояла позади. Таким своим поведением она давала понять мне, насколько я был невыносим. В конце концов она перескочила через бордюр и по тротуару вырулила на улицу.

— Слава богу, — сказал я со вздохом облегчения.

— Усохни! — выкрикнула она.

— Послушай, если уж на то пошло, просто остановись и выпусти меня. Я могу и пройти пешком.

Она тут же втопила до упора. Мы неслись по улицам центральной части города. Я сидел, вцепившись в сиденье, и обдумывал возможность выпрыгнуть из машины. Скоро движение на дороге заметно поредело. Мы были в двух милях от Банкер-Хилла, в восточной части города, в районе заводов и пивоварен. Камилла сбавила скорость и приняла к тротуару. Мы остановились возле низкого закопченного забора. За ним громоздились штабеля стальных труб.

— Почему здесь? — осведомился я.

— Ты же хотел прогуляться — иди.

— Да нет, я лучше прокачусь.

— Выметайся. Я не шучу. Возьми любого кто никогда не держал в руках ружье, и он будет стрелять лучше тебя! Давай, убирайся!

Я вытащил сигареты и предложил ей.

— Давай обсудим твой постулат.

Она выхватила пачку, швырнула ее мне под ноги и пригвоздила меня своим свирепым взглядом.

— Я ненавижу тебя. Господи, как же я тебя ненавижу!

Пока подбирал сигареты, ночь и весь заводской район трепетали от мощи ее отвращения. Я все понял. Нет, она не ненавидела Артуро Бандини. На самом деле она ненавидела тот факт, что он не соответствует ее стандартам. Она хотела любить его, но не могла. Ей бы хотелось, чтобы он был как Сэмми — спокойный, молчаливый, жестокий, отличный стрелок, хороший бармен, который видел бы в ней официантку и ничего больше. Я вылез из машины, ухмыляясь, потому что знал, как мне обидеть ее.

— Спокойной ночи, — сказал я. — Какая восхитительная погода. Я с удовольствием прогуляюсь.

— Надеюсь, что ты не выберешься отсюда и твой труп найдут утром в канаве.

— Постараюсь оправдать твои надежды.

Когда она отъезжала, то разрыдалась, боль раздирала ее душу. Одно было очевидно: Артуро Бандини не пара для Камиллы Лопес.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Хорошие дни, богатые дни, страницы прибывают одна за другой, удачные дни, важная тема, история Веры Ривкен, листы заполнялись текстом, и я был счастлив. Невероятные дни, рента оплачена, в кошельке еще пятьдесят долларов, и целый день и всю ночь нечего делать, кроме как писать и обдумывать написанное. Ах, что за чудные дни, видеть, как рукопись растет, заботиться только о книге, о своих словах, возможно весьма важных, может быть, даже бессмертных, но самое главное, своих. Ох уж этот неукротимый Артуро Бандини, он целиком погружен в свой первый роман.

Но наступил вечер, когда душа моя совсем остыла, купаясь в безбрежном океане слов, ноги мои задеревенели. А чем заняты остальные люди на этой земле? Я должен был идти и посмотреть на нее — Камиллу Лопес.

Сказано — сделано. Все было как в добрые старые времена, наши взгляды встречались и разбегались. Но она изменилась, похудела, лицо осунулось, на губах появилась сыпь. Мы обменялись учтивыми улыбочками. Я дал ей чаевые, она поблагодарила меня. Монетку за монеткой я скармливал музыкальному автомату, выбирая ее любимые мелодии. Но она уже не

танцевала, выполняя свою работу, и больше не смотрела на меня так часто, как это обычно бывало раньше. Может быть, виной всему Сэмми? Может, она скучает по этому парню?

— Как он? — спросил я, улучив момент.

— Надеюсь нормально, — ответила она, пожимая плечами.

— Не виделась с ним?

— Виделась, конечно.

— Плохо выглядишь.

— Да все нормально.

Я поднялся.

— Ну, мне пора идти. Просто заглянул посмотреть, как ты тут поживаешь.

— Спасибо, мило с твоей стороны.

— Да несколько. Чего не заходишь?

Она улыбнулась.

— Может быть, зайду как-нибудь вечерком.

Камилла, милая, в конце концов ты пришла. Бросила камешек в мое окно, и я затащил тебя в комнату. Твое дыхание было сдобрено запахом виски, и я был озадачен, пока ты, слегка пьяная, сидела за печатной машинкой и хихикая, баловалась с клавиатурой. А когда ты повернулась и посмотрела на меня и свет упал на твое лицо, я увидел распухшую нижнюю губу и пурпурно-черный синяк под левым глазом.

— Кто ударил тебя?

И ты ответила:

— Автомобильная авария.

— Сэмми сидел за рулем другого автомобиля?

И ты расплакалась, пьяная и разбитая горем. И я смог прикоснуться к тебе, не затрепетав при этом от возбуждения. Я лежал рядом с тобой на кровати, обняв, и слушал, как ты рассказывала, что Сэмми ненавидит тебя, что ты поехала к нему в пустыню вечером после работы, а он дважды врезал тебе по лицу за то, что ты разбудила его в три утра.

— Зачем ты поехала к нему?

— Потому что я люблю его.

В сумочке у тебя была бутылка виски, и мы выпили ее, прикладываясь по очереди. А когда бутылка опустела, я спустился в магазин и купил еще, теперь уже большую бутылку. И всю ночь мы плакали и пили. Опьянев, я смог выговорить все, что накопело у меня на сердце, все те возвышенные слова и искусные сравнения, потому что ты рыдала по другому парню и ничего не воспринимала. Зато я сам внимал своим же словам и могу сказать, что Артуро Бандини был чертовски хорош той ночью, ведь он разговаривал со своей настоящей любовью. И этой любовью была не ты и даже не Вера Ривкен, это была просто его настоящая любовь. Да, я наговорил столько прекрасного в ту ночь, Камилла. Я стоял на коленях перед тобой и, держа тебя за руку, вещал: «Ах, Камилла, ты пропащая девушка! Разожми свои длинные пальцы и верни мне мою изможденную душу! Поцелуй меня своими губами, ибо изголодался я без мексиканского хлеба. Вдохни аромат потерянных городов в пылкие ноздри и дай мне умереть, положив руку на мягкие контуры твоей шеи, такой нежной, подобной белизне полузабытых южных берегов. Возьми жажду этих беспокойных глаз и скорми ее по глоточку осенним кукурузным полям, ведь я люблю тебя, Камилла, и имя твое священно, как имя мужественной принцессы, что умерла с улыбкой за свою навсегда потерянную любовь».

Я был пьян в ту ночь, Камилла, пьян от бутылки виски за 78 центов, и ты была пьяна и от виски, и от горя. Я вспоминаю, как, выключив свет, совершенно голый, если не считать ботинка, который никак не хотел сниматься, я обнял тебя и уснул, упокоившись под монотонные всхлипывания и ощущая соль твоих слез, капающих на мои губы и думая о Сэмми и его уродливой писанине. Нет ничего удивительного, что он ударил тебя! Этот кретин! Ведь даже пунктуация в его рассказах ужасна.

Когда мы проснулись, нас обоих мутило. Твоя опухшая губа раздулась до невероятных размеров, а синяк под глазом стал зеленым. Ты встала,

пошатываясь подошла к раковине и стала умываться. Сквозь плеск воды я слышал твои стоны. Я подсматривал, как ты одевалась. Я ощутил на лбу твой прощальный поцелуй, и меня чуть не стошнило. Затем ты вылезла в окно, и я слышал, как побрела ты по склону, как трава шуршала и мелкие веточки трещали под твоими нетвердыми шагами.

Я пытаюсь восстановить всю хронологию тех событий. Дни почти не отличались друг от друга, будь то зима, весна или лето. Ели бы не ночь, спасибо темноте, мы бы не замечали, что один день закончился и начался другой. Я написал 240 страниц, и финал был не за горами. Жизнь протекала плавно и спокойно. Но вот будет закончен роман, рукопись отправится к Хэмуту, и тогда тра-ла-ла, начнутся муки и страдания.

Это произошло в тот раз, когда мы ездили на Терминал, Камилла и я. Терминал — искусственный остров, этакий длинный земляной палец, указывающий на Каталину. Сплошные консервные фабрики, запах рыбы, грязно-коричневые строения, японцы, белый песок, исчерченный широкими мостовыми и японские детишки, играющие в футбол. Камилла была раздражена, последнее время она слишком много пила, и ее глаза остекленели. Мы оставили машину на обочине и пошли на пляж. Берег был каменистый, расщелины кишели крабами, крабы были повсюду. Но они переживали не лучшие времена, потому что за ними охотились чайки. Эти наглые птицы галдели и дрались между собой. Мы сели на песок и стали наблюдать за сварой. Камилла сказала, что они прекрасны, эти чайки.

— Ненавижу их, — возразил я.

— Ты! — вспыхнула Камилла. — Ты все ненавидишь!

— Да ты посмотри на них, — попытался объяснить я. — Чего они привязались к этим бедным крабам? Крабы их не трогают. Так какого черта они с ними так поступают?

— Крабы, — поморщилась Камилла, — брр...

— А я презираю чаек, они жрут все подряд, и чем дохлее добыча, тем для них лучше.

— О Господи, смени пластинку! Вечно ты все испоганишь. Какая тебе разница, что они едят?

Неподалеку стайка детишек-японцев играла в футбол. Им было не больше двенадцати. Один очень здорово бросал мяч. Я повернулся к морю спиной и стал следить за игрой. Парнишка метнул мяч почти через все поле прямо в руки игроку своей команды. Я даже привстал от удивления.

— Смотри на море, ты, писатель, — позвала Камилла. — Ты же должен восхищаться красивыми вещами.

— Парень сделал красивый пас.

— Я часто приходила сюда раньше. Почти каждую ночь.

Я глянул на нее. Опухоль с губы почти спала, но синяк все еще не сошел.

— А-а, с другим писателем, — усмехнулся я. — С по-настоящему великим мастером, с гениальным Сэмми.

— Ему нравилось здесь.

— Он действительно непревзойденный специалист. А этот пейзаж, который он написал у тебя под левым глазом, просто шедевр.

— Он, по крайней мере, не выплескивал свое говно наружу, как ты, по любому поводу. Он знал, когда следует помолчать.

— Чушь.

Между нами назревала ссора. Я решил не усугублять, встал и пошел к пацанам. Она окликнула меня и спросила, куда это я направился.

— Поиграю в футбол, — сообщил я.

Она была оскорблена.

— С ними? С этими япошками?

Я побрел дальше.

— Не забывай, что с тобой случилось тогда ночью! — прокричала она вслед.

Я повернулся.

— Когда?

— А вспомни, как ты возвращался домой пешком.

— Мне понравилось. Автобусом безопаснее, чем с тобой.

Пацаны не взяли меня в свою игру, потому что у них было поровну игроков в каждой команде, но они разрешили мне судить матч. Потом команда, за которую играл парень с великолепной подачей, настолько оторвалась вперед, что проигрывающей команде просто необходима была замена. И я стал играть за неудачников. В нашей команде каждый хотел быть нападающим, отсюда творилась полная неразбериха. Меня поставили играть в центре. Я ненавидел это место, потому что плохо принимал пасы. В конце концов капитан нашей команды осведомился, как у меня с броском, и отправил играть в защиту на заднее поле. Я выполнил бросок, и все пошло здорово после этого. Камилла уехала почти сразу, как я ушел. Мы бились до темноты. Наша команда все же проиграла, но счет был не разгромный. До Лос-Анджелеса я добрался на автобусе.

Давать себе зарок больше не видится с Камиллой было бессмысленно. Два дня от нее не было ни духу ни слуха. В ночь на третий день, после того как она бросила меня на острове, я пошел в кино. Где-то возле полуночи я вернулся в отель и поднялся по старой лестнице в свою комнату. Дверь оказалась закрытой, изнутри. Я стал крутить дверную ручку и услышал ее голос:

— Сейчас, подожди минутку. Это я, Артуро.

Долгая это была минутка, раз в пять длиннее обычной. Я слышал, как она металась по комнате, хлопнула дверкой шкафа, открыла окно. Пришлось снова потереть ручку двери. Она отворила и застыла предо мной, грудь ее волновалась, в глазах металось черное пламя, щеки горели, казалось, все ее существо переполняет живительная радость. Я даже испугался таким разительным переменам. Ресницы ее подрагивали, глаза то широко раскрывались, то закрывались. С губ не сходила игривая улыбка, обнажая крепкие зубы, плавающие в густой пузырящейся слюне.

— В чем дело? — брякнул я.

Камилла обняла меня и страстно поцеловала. Но я знал, что это неискренне. Этим всплеском нежности она преграждала мне вход. Пытаясь что-то скрыть,

она не впускала меня в собственную комнату. Выглядывая из-за ее плеча, я осмотрел свое жилище. Кровать была разворошена, подушка смята, на спинке стула висел ее плащ, комод усеян гребенками, заколками и шпильками. Но все вроде бы было на месте, кроме двух маленьких красных ковриков возле кровати. Коврики находились не там, где обычно, для меня это было очевидно, потому что я всегда заботился о том, чтобы они лежали на нужном месте и утром, когда я вставал с кровати, мои ноги попадали на их мягкую поверхность.

Я отстранил Камиллу, шагнул в комнату и посмотрел на шкаф. Она всполошилась и, задыхаясь, бросилась к шкафу, загородила собой дверцу и даже выставила для защиты руки.

— Не открывай, Артуро, — взмолилась она. — Пожалуйста!

— Да какого черта ты тут делала?

Она вся дрожала, часто облизывала губы, глаза ее наполнились слезами, она и плакала и улыбалась одновременно.

— Я потом расскажу тебе, — твердила она, — только ты ничего не делай сейчас, Артуро. Не надо. Ох, пожалуйста, не надо!

— Кто там?

— Никого! — сорвалась она на крик. — Ни души! Это совсем не то, Артуро. Здесь никого нет, только ты все равно не открывай шкаф. Прошу, не сейчас. Ну, пожалуйста!

Она бросилась ко мне, почти накинута, заключила в объятия, защищая таким образом дверцу шкафа от моих посягательств. Раскрыв рот, она поцеловала меня со специфическим пылом, это была горячая холодность, чувственное безразличие. Не нравилось мне все это. Получалось так, что одна ее часть предавала и выставляла на показ другую, чтобы скрыться самой. Я сел на кровать, она продолжала стоять между мной и шкафом. Бедная Камилла, она так старалась скрыть свое возбуждение, ну, как пьяный пытается показаться трезвым, но возбуждение было так очевидно, его невозможно было не заметить.

— Ты пьяна, Камилла. Не надо так много пить тебе.

Рвение, с которым она согласилась в том, что пьяна, тотчас заставило меня засомневаться в этом. Я внимательно посмотрел на нее, она стояла и качала головой, как нашкодивший ребенок, признающий свою вину, застенчиво улыбаясь, надувая губки и потупив взор. Тогда я встал и поцеловал ее. Да, она была пьяна, но не от виски или какого-другого алкоголя, потому что дыхание ее было совершенно свежим. Я усадил ее рядом с собой на кровать. Экстаз плескался в ее глазах, накатывая волнами, жаркая истома ее рук и пальцев сдавила мне горло. Прижавшись губами к моим волосам, она прошептала:

— Если бы ты был им.

И вдруг издала истошный вопль, пронзительный, царапающий стены.

— Ну почему ты не он?! О, Господи, почему же?!

Она набросилась на меня и стала охаживать кулаками по голове и справа, и слева, и при этом еще визжа и царапаясь в приступе слепой ярости против судьбы, которая на могла переделать меня в ее Сэмми. Я схватил ее за руки и заорал, требуя успокоиться. Бесполезно. Тогда пришлось зажать ей визжащий рот. У нее стали вылезать глаза из орбит — не хватало дыхания.

— Отпущу, если пообещаешь, что не будешь орать, — сказал я.

Она кивнула, я оставил ее на кровати, а сам отошел к двери и прислушался: не всполошилась ли хозяйка? Камилла, уткнувшись лицом в подушку, плакала. За дверью было тихо. Я на цыпочках двинулся к шкафу. Должно быть, инстинктивно она повернулась. Лицо, мокрое от слез, глаза как мятый виноград.

— Откроешь дверцу, и я заору, — предупредила она. — Я буду визжать, как будто меня режут.

Этого мне еще не хватало. Я пожал плечами и отошел от шкафа. Она снова уткнулась в подушку и продолжила свой рев. Ладно, пусть выплачется, и отправлю ее домой, решил я. Но этому не суждено было сбыться. Через полчаса она все еще лила слезы. Я притулился рядом и погладил ее по волосам.

— Ну, что ты хочешь, Камилла?

— Его, — проговорила она сквозь рыдания. — Я хочу увидеться с ним.

— Сейчас? Господи, да это полторы сотни миль отсюда.

Ей было плевать — сто, тысяча, миллион, она хотела видеть его сегодня, сейчас. Я сказал, что это ее дело, у нее есть машина, пусть она садится за руль и часов через пять будет на месте.

— Я хочу, чтобы ты поехал со мной, — канючила она. — Он не любит меня. Тебя он захочет видеть.

— Нет, я пас. Я ложусь спать.

Она стала умолять меня. Бухнулась на колени, обхватила мои ноги руками и, заглядывая в глаза, уговаривала. Она любит его безумно, конечно же, такой большой писатель, как я, должен понимать, что это такое — настоящая любовь, и, естественно, я понимаю, почему она не может ехать к нему одна, тут она показала на подбитый глаз. Если же я приеду с ней, Сэмми не выставит ее, нет, ему будет приятно, что она привезла меня, а потом Сэмми и я сможем поговорить, ведь я очень много могу рассказать Сэмми о писательском ремесле, и он будет очень благодарен мне и ей.

Я стоял, смотрел на нее, скрипел зубами и пытался противостоять ее аргументам, но она так ловко все повернула, что я согласился поехать вместе с ней и даже всплакнул на пару. Я поднял ее с колен, утер слезы, прибрал волосы, я уже чувствовал ответственность за нее. Ступая на цыпочках, мы вышли из комнаты, спустились по дряхлой лестнице в холл, затем выскользнули на улицу, где стоял ее автомобиль.

Мы ехали на юг, сменяя друг друга за рулем. К рассвету добрались до пустынной страны кактусов, полыни и юкк. В этой части пустыни песков было мало, огромную равнину испещряли осыпающиеся скалы и пологие холмы. Затем мы свернули с шоссе на проселочную дорогу, усеянную валунами и почти заросшую. Дорога бежала то вверх, то вниз, подчиняясь вялому ритму сменяющихся холмов. Было уже совсем светло, когда мы достигли района каньонов и крутых ущелий — в двадцати милях от сердцевины пустыни Мохаве. Сэмми был уже совсем рядом. Камилла указала на приземистую глинобитную лачугу, притулившуюся у подножья трех крутых холмов. На восток от лачуги простиралась песчаная равнина, уносясь в бесконечность.

Мы оба устали, вымотанные долгой тряской на жестком «форде». К тому же в это время было еще очень холодно. Оставив машину в двухстах ярдах от хибары, мы поковыляли по каменистой дороге. Я шел впереди, возле двери приостановился. Изнутри хибары доносился раскатистый мужской храп. Камилла отстала, спасаясь от резкого холода, она обхватила себя руками. Я постучался, в ответ раздался стон. Я стукнул снова и услышал голос Сэмми:

— Если это опять ты, паршивая мексикашка, я вышибу тебе все зубы на хрен.

Дверь распахнулась, и я увидел перед собой заспанную физиономию, мутные вытаращенные глаза и всклокоченные волосы.

— Привет, Сэмми.

— Ох, а я думал, это она.

— Она тоже здесь.

— Скажи, пусть проваливает отсюда. Я не хочу, чтобы она здесь ошивалась.

Камилла прижалась к стене хижины. Я заметил улыбку замешательства на ее лице. Нам всем троим было холодно, все дрожали и клацали зубами. Сэмми приоткрыл дверь пошире и сказал:

— Ты можешь войти, а она — нет.

Я ступил в хижину. Темень там была кромешная, пахло нестиранным нижним бельем и испарениями больного тела. Чахлый свет просачивался через разбитое окно, занавешенное лоскутом дерюги. Я не успел ничего сказать, как Сэмми запер за нами дверь.

Белье на нем было не по росту. Пол грязный, усеянный песком и холодный. Сэмми сорвал дерюгу с окна, утренний свет ворвался в хижину. Воздух был настолько холоден, что превращал выдыхаемый нами воздух в туман.

— Пусть она войдет, Сэмми. Хватит валять дурака.

— Нечего этой суке здесь делать.

Он стоял в своем длинном исподнем, на коленях и локтях чернели пятна грязи — высокий, изможденный, кожа да кости, загорелый, почти как смоль.

Сэмми подошел к плите и стал разводить огонь. Голос его смягчился, когда он заговорил о своем заветном:

— На прошлой неделе закончил еще один рассказ. Думаю, в этот раз получилось хорошо. Не хочешь посмотреть?

— Обязательно... Черт, Сэмми, она мой друг...

— Тьфу! Она — дрянь. Просто чума. От нее только одни проблемы.

— И все равно, пусти ее. Там холодно.

Сэмми приоткрыл дверь и высунул голову на улицу.

— Эй, ты!

До меня донеслись ее всхлипывания, я слышал, как она пытается успокоиться.

— Да, Сэмми.

— Не стой там, как полная дура. Ты заходишь или нет?

Только когда он вернулся к плите, она осмелилась войти, как перепуганный зверек.

— Кажется, я внятно сказал тебе, чтобы ты больше не появлялась здесь, — пробурчал Сэмми.

— Я его привезла, — пролепетала Камилла. — Вот, Артуро. Он хотел поговорить с тобой о твоих рассказах. Так ведь, Артуро?

— Так.

Я не узнавал ее. Дерзость, тщеславие и вся воинственность вытекли из нее, как кровь из вскрытых вен. Она стояла сама не своя, лишенная силы и воли, сгорбившись, с поникшей головой.

— Слышь, ты, — прикрикнул на нее Сэмми, — принеси дров.

— Я схожу, — вызвался я.

— Нет, пусть она, — отрезал Сэмми. — Она знает, где это.

Камилла выскользнула за дверь. Вскоре она вернулась с охапкой дров. Свалив палки в ящик возле плиты, она молча принялась подбрасывать их в огонь. Сэмми уселся на кровать и принялся надевать носки. Он непрерывно говорил о своей писанине, бесконечный поток болтовни. Печальная Камила не отходила от плиты.

— Эй ты, сделай нам кофе.

Она исполнила указание, разлив кофе по алюминиевым кружкам. Сэмми, отдохнувший со сна, был полон энтузиазма и любознательности. Мы сидели возле плиты, меня клонило ко сну, жар от плиты шалил с моими отяжелевшими веками. Вокруг нас суетилась Камила. Она подмела пол, заправила постель, вымыла посуду, развесила валявшуюся одежду, она не останавливалась ни на мгновение. Чем дальше Сэмми говорил, тем он становился самоувереннее и убежденнее. Финансовая сторона писательской профессии интересовала его больше, чем сама профессия. Сколько платит этот журнал, а сколько тот? И еще он был убежден, что в журналах все по благу. Если у тебя в редакции есть кузин или брат, в общем, родственник, то тогда у тебя есть шанс, что твои рассказы будут публиковать. Разубедить его было бессмысленно, я даже и не пытался, так как знал, что такого рода убеждение человеку, не умеющему писать, просто необходимо.

Тем временем Камила приготовила завтрак — поджарка из кукурузной каши плюс яичница с беконом. Мы съели нехитрую пищу, держа тарелки у себя на коленях. Камила собрала посуду, вымыла ее и только потом перекусила сама, забившись в дальний угол. До нас доносились лишь клацанье вилки об алюминиевую тарелку. Сэмми не умолкал все утро. На самом деле, ни в каких советах он не нуждался. Сквозь туман полудремы до меня доносились его поучения, как следует делать, а как нет. Я не выдержал и попросился отдохнуть. Сэмми отвел меня в беседку, сплетенную из ветвей пальмы. Солнце было уже высоко, и воздух прогрелся. Я лег в гамак и тут же уснул, последнее, что я видел, это фигура Камиллы, вогнувшаяся над корытом с коричневой водой, в которой плавали несколько пар нижнего белья и комбинезоны.

Часов через шесть она разбудила меня и сказала, что уже два по полудню и пора в обратный путь. В семь часов ей надлежало быть в «Колумбийском буфете». Я спросил, удалось ли ей поспать. В ответ Камила отрицательно

покачала головой. На ее лице отпечатались страдание и изнурение. Я выбрался из гамака и, выйдя из беседки, окунулся в горячий воздух пустыни. Вся одежда на мне промокла от пота, но я чувствовал себя отдохнувшим и посвежевшим.

— Где гений? — осведомился я.

Она кивнула в сторону хижины. Длинная толстая веревка, протянутая почти через весь двор, провисала под массой уже почти высохшего чистого белья.

— Это ты столько наворотила? — изумился я.

— Пустяки, — улыбнулась она в ответ.

Поднырнув под белье, я подошел к двери. Из хижины доносился смачный храп. Я заглянул внутрь. Сэмми лежал на койке — полуголый, рот широко раскрыт, руки и ноги в разные стороны.

— Это наш шанс, — сказал я, прикрыв дверь. — Уходим.

Камилла зашла в хижину и приблизилась к койке. Через открытую дверь я видел, как она склонилась над спящим, внимательно изучая его лицо, тело. Потом потянулась к его губам, ближе, ближе, видно хотела поцеловать. И вдруг он проснулся, и их глаза встретились.

— Пошла вон, — гаркнул Сэмми.

Она отпрянула и выскочила на улицу. За всю дорогу обратно в Лос-Анджелес мы не проронили ни слова. Даже когда мы подъехали к моему отелю Алта-Лома, Камилла лишь молча улыбнулась мне в знак благодарности, я тоже ответил улыбкой сочувствия, и она укатила. Было уже темно, на западе угасали розовые блики заката. Я поднялся в свой номер и, не в силах сдерживать зевок, завалился в постель. Уже засыпая, я вдруг вспомнил про шкаф. Пришлось встать и открыть дверцу. С виду все было на месте — одежда висела на вешалках, чемодан покоился на верхней полке. Тогда я зажег спичку и осмотрел днище. В дальнем углу я обнаружил сожженную спичку и крупинки какого-то коричневого вещества, очень похожего на грубомолотый кофе. Подцепив пальцем несколько крупинок, я попробовал их на вкус кончиком языка. Я сразу все понял — это была марихуана. Я был уверен в этом, Бенни Кохен однажды показывал мне эту заразу, чтобы я знал о ней не понаслышке. Так вот, значит, для чего она приходила сюда. Тебе

понадобилось укромное местечко, чтобы выкурить косячок. Теперь было ясно, зачем ей понадобились мои коврики: она затыкала ими щель под дверью.

Камилла — наркоманка. Я обнюхал воздух в шкафу, потыкался носом в одежду. Запах был такой, будто бы здесь жгли кукурузный початок. Камилла — наркоманка.

По сути, это было не моего ума дело, но ведь это касалось Камиллы. Да, она обманывала и оскорбляла меня, да, она любила другого, но ведь она так прекрасна, и я не могу без нее, поэтому я решил, что это касается и меня.

Я сидел в ее в машине часов в одиннадцать, поджидая, когда она закончит работу.

— Так ты наркоманишь?

— Иногда, когда сильно устаю.

— Брось это.

— Да у меня нет зависимости.

— Все равно брось.

Она пожала плечами.

— Мне это раз плюнуть.

— Обещай мне, что завяжешь.

Она перекрестилась и заявила:

— Да провалиться мне на этом месте.

Но ведь Камилла говорила с Артуро Бандини, а не с Сэмми, и я знал, что она с легкостью нарушит свое обещание. Мы поехали по Бродвею к Седьмой, затем повернули на юг и покатали к Центр-авеню.

— Куда мы направляемся? — поинтересовался я.

— Увидишь.

Мы ехали по негритянским кварталам Лос-Анджелеса: Центр-авеню, ночные клубы, заброшенные жилые дома, полуразрушенные административные здания — свидетельство бедности черных и чванства белых. Мы остановились возле клуба под названием «Куба». Камилла знала вышибалу, что стоял на дверях, — гиганта в синей униформе с золотыми пуговицами.

— Есть дело, — шепнула она ему.

Детина оскалится, подал знак, чтобы его подменили, и запрыгнул на подножку нашего авто. Судя по всему, это была обычная процедура, которую они проделывали не раз.

Камилла завернула за угол, проехала две улицы и свернула на аллею. Выключив фары, она медленно покатила в полной темноте. Вскоре мы остановились возле какого-то прохода, и Камилла заглушила двигатель. Черный великан спрыгнул с подножки, включил фонарик и поманил нас следовать за ним.

— Могу я спросить, что это все значит? — одернул я Камиллу.

Мы вошли в какую-то дверь. Негр шел впереди и держал за руку Камиллу, Камилла держала мою. Мы пробирались по длинному коридору. Пол был без покрытия, просто дощатый. Над нами, как переполошившаяся птица, металось эхо от наших шагов. Мы поднялись по лестнице на третий этаж и вышли в другой длинный холл. В конце него оказалась дверь. Наш проводник открыл ее. Сплошная темень. Мы вошли. В комнате стояла такая вонь от невидимого дыма, что щипало глаза. Дым перехватил мне глотку, защекотал ноздри. Я задержал дыхание. Лучик фонарика заметался по комнате, как оказалось, довольно маленькой. Повсюду лежали тела, тела негров, мужчины и женщины, пожалуй, их было десятка два, на полу и на кровати, пружины которой покрывал лишь один матрас. Я видел глаза лежащих людей, широко распахнутые и мутные, которые закрывались словно устрицы, когда их касался луч света. Постепенно мои глаза свыклись с дымовой завесой, и я стал различать крохотные красные точки — негры курили марихуану, молча в кромешной темноте, едкая вонь от их косяков терзала мне легкие. Наш негр-гигант освободил кровать от курильщиков, просто свалил их на пол, как мешки с мукой, и затем в свете фонарика мы увидели, как он вытащил что-то из прорези в матрасе. Прделав обратный путь по длинным темным коридорам, мы оказались на улице возле автомобиля. Негр протянул Камилле коробку из-под табака «Принц

Альберт», она дала ему два доллара. Мы отвезли чернокожего курьера в клуб, а сами по Центр-Авеню поехали к центру Лос-Анджелеса.

Я молчал. Мы ехали к ней на Темпел-стрит. Дом, в котором она обитала, был сильно запущен и постепенно умирал под палящим солнцем. Ее квартира укомплектовывалась откидной кроватью, радио и мягкой мебелью с грязно-голубой обивкой. Зашарпанное ковровое покрытие было замусорено, в углу, словно обнаженные тела, валялись бульварные журналы. Повсюду стояли, висели, лежали пупсики и различные сувениры с ночных празднеств на пляжных курортах. В другом углу пылился велосипед, спущенные шины свидетельствовали о том, что он уже давно вышел из употребления: В следующем углу торчало удилище со спутанной леской и крючками. Ну и в последнем углу располагался дробовик, изрядно запылившийся. Из-под дивана выглядывала бейсбольная бита, в кресле между подушек приютилась Библия. Кровать была опущена, простыни не первой свежести. На одной стене висела репродукция Блю Боя, на противоположной — фотография воина-индейца, приветствующего небеса.

Я прошел на кухню. Раковина смердела гниющими отходами, на плите грязные подгоревшие сковороды. Заглянул в холодильник — ничего, кроме банки концентрированного молока и пачки масла. Дверца морозильника не закрывалась, и это уже казалось нормой. Сунулся в шкаф возле кровати — ворох всякой одежды и множество вешалок, но одежда валяется на полу, кроме одной-единственной соломенной шляпы — одиноко висящее посмешище.

Вот, значит, где она обитает! Я бродил по ее жилищу, обнюхивая и ощупывая его. Так я себе все и представлял. Это был ее дом. Я бы определил его с закрытыми глазами, по ее запаху. Лихорадочное, бессмысленное существование Камиллы проявлялось здесь частицей от всеобщего безнадежного замысла. Квартира на Темпел-стрит, квартира в Лос-Анджелесе. Но Камилла была дочерью перекатывающихся холмов, бескрайних пустынь и высоченных гор, она могла разорить любую квартиру, способна разрушить не одну такую маленькую тюрьму, как эта. Так все и должно было быть, так я себе это и представлял. Это был ее дом, ее руины, ее обанкротившаяся мечта.

Камилла сбросила плащ, повалилась на диван и с мрачным видом уставилась на мерзкий ковер. Я уселся в кресло и, попыхивая сигаретой, скользил взглядом по профилю ее изогнутой спины, талии, бедрам. Темный коридор

безвестного отеля на Центр-Авеню, отвратный негр, прокуренная комната, набитая наркоманами, и вот теперь эта девочка, влюбленная в человека, который ее ненавидит. Все это были капли одного зелья, порочного и опьяняюще-притягательного. Ночь на Темпел-стрит, коробка с марихуаной между нами. Девочка лежит на диване, рука свисает, длинные пальцы касаются ковра, она ждет, равнодушная и уставшая.

— Пробовал когда-нибудь дурь? — спрашивает она.

— Это не для меня.

— Один раз ничего страшного.

— Не для меня.

Она садится, достает из сумочки коробок с марихуаной, папиросную бумагу, скручивает косяк и передает его мне. Я беру, а сам продолжаю твердить: «Это не для меня». А она уже крутит косяк для себя. Когда он готов, она встает, закрывает плотно окна на защелки. Сдергивает с кровати покрывало и затыкает им щель под дверь. Прислушивается и смотрит на меня. Она улыбается.

— На каждого действует по-разному. Возможно, тебе станет грустно, и ты всплакнешь.

— Нет, я нет.

Она закуривает и протягивает спичку мне.

— Зря ты все это затеяла, — оттягиваю я.

— Затянись и удержи. Держи долго, сколько сможешь. Потом выпускай.

— Гнилое это дело, — говорю я и затягиваюсь, задерживаю дыхание и терплю, сколь есть мочи.

Затем выдыхаю. Она снова ложится на диван и делает то же, что и я.

Иногда, чтобы подействовало, нужно выкурить пару косячков, говорит она.

На меня вообще не подействует.

Мы курим, пока огонь не начинает обжигать нам пальцы. Потом я скручиваю еще пару.

Где-то на середине второго косяка меня зацепило, подхватило и понесло прочь от земли — радость и триумф человека, попирающего пространство, ощущение экстраординарной силы. Я рассмеялся и снова затянулся. Вот Камилла, она лежит, бесстыдное вождение на ее лице и апатичная прохлада ночи между нами. Но я уже за пределами этой комнаты, я за границами своего тела, плыву в стране яркой луны и мерцающих звезд. Я неукротим. Я уже не я, у меня нет ничего общего с этим парнем, с его суровым счастьем и неведомым мужеством. Он поднимает лампу, что стоит на столике рядом с ним, смотрит на нее и швыряет на пол. Лампа разлетается на мелкие кусочки. Он смеется. Она, очнувшись от шума, смотрит на останки и тоже хохочет.

— Что смешного? — спрашиваю я.

Она продолжает смеяться. Я встаю, подхожу к дивану и беру Камиллу на руки. В руках моих чудовищная сила, и она задыхается в их страстных объятиях.

Я смотрю, как она раздевается, на ее лице покорность и страх, я уже видел это выражение, там в далеком земном прошлом. Я вспоминаю хижину на краю пустыни, и как Сэмми приказывает ей принести дров. Рано или поздно это должно было случиться, думаю я. Она раболепствует в моих руках, и я смеюсь над ее слезами.

Когда все было кончено, иссяк волшебный полет в звездных куцах, и кровь в теле вошла в свое обычное русло, я снова оказался в этом надоедливом, разрозненном мире в мерзкой захлавленной квартире с пустым потолком, и ничего во мне не осталось, кроме старого чувства вины, ощущения свершенного преступления и грехопадения. Я сидел на диване возле лежащей рядом Камиллы и тарачился в пол. Повсюду валялись осколки разбитой лампы. Я встал и пошел одеваться, вдруг острая боль пронзила все мое тело, стекло впилося в ноги — жгучая агония плоти, я заслужил ее. Сунув порезанные ноги в ботинки, я вышел в прозрачную ночь. Хромая, проделал я долгий путь до своего отеля, думая, что уже больше никогда не увижусь с Камиллой Лопес.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Я стоял на пороге больших событий, а мне не с кем было даже поделиться. История Веры Ривкен завершена, несколько славных дней ушло на перепечатку, все шло как по маслу. Хэкмут, еще несколько дней — и ты получишь нечто грандиозное. Наконец правка была закончена, я отправил рукопись и погрузился в ожидание. Ожидание и надежда. Я молился, посещал мессу и совершил Святое причастие. Я поставил свечи у алтаря девы Марии. Я молил о чуде.

И чудо свершилось. Вот как это было: Я находился в своем номере, стоял у окна и наблюдал за жуком, ползущим по подоконнику. Был вторник, три часа пятнадцать минут по полудню. В дверь постучались. Я отворил и увидел почтальона. Расписавшись за телеграмму, я сел на кровать, гадая, пришлось ли молодое вино старцу по сердцу или нет. Послание гласило: «Ваша книга принята, сегодня высылаю контракт. Хэкмут». И все. Бланк выскользнул у меня из рук и полетел на пол. Я был ошарашен. Осев на пол, я стал целовать телеграмму. Потом заполз под кровать и просто лежал там. Ничего мне уже не было нужно — ни солнечного света, ни земли, ни неба. Ничего более значительного со мной больше не произойдет. Жизнь моя была кончена.

Так значит, контракт должен был прибыть авиапочтой? Последующие дни я мерил комнату шагами. Я просматривал все газеты. Авиапочта была слишком ненадежной, чересчур опасной. Долой авиапочту! Каждый день происходят катастрофы, земля покрывается обломками самолетов и трупами летчиков. Черт, ведь это такое рискованное предприятие, сущая авантюра и в конце-то концов, где мой контракт?! Я позвонил на почту. Погода летная? Хорошо. Все самолеты выходят на связь? Отлично. Никаких аварий, крушений, катастроф? Замечательно. Где же тогда мой контракт? Я потратил уйму времени, оттачивая свою подпись. Я решил использовать полное имя: Артуро Доминик Бандини, А. Д. Бандини, Артуро Д. Бандини, А. Доминик Бандини. Контракт прибыл в понедельник почтой первого класса. Плюс чек на пятьсот долларов. Господи, пять сотен долларов! Я — один из Морганов. Теперь можно и на покой.

Война в Европе, речь Гитлера, проблемы в Польше — таковы основные темы дня. Какой вздор! Эй вы, милитаристы, вы, протирающие штаны в вестибюле моего отеля Альта-Лома, вот новость, здесь, в этой маленькой бумажке, заполненной причудливыми юридическими фразами, — это моя книга! К черту Гитлера, это важнее Гитлера, это касается моей книги. Да, эта книга не

вздыбит мир, никого не убьет, ни в кого не выстрелит, но вы будете помнить ее до конца ваших дней, лежа на смертном одре с последним дыханием вы вспомните эту книгу и улыбнетесь. История Веры Ривкен — частичка подлинной жизни.

Но никто не заинтересовался. Они предпочитали войну в Европе, глупые кинокомедии, Лоуэллу Парсонс. Ужасные люди, несчастные существа. Я сидел среди них в вестибюле отеля и беспомощно качал головой.

И все же с кем-то я должен был поделиться. Камилла. Три недели я не видел ее после той марихуановой ночи на Темпел-стрит. Но ее не оказалось на работе. На ее месте была уже другая девушка. Я спросил про Камиллу. Новая официантка даже не стала разговаривать со мной. Неожиданно «Колумбийский буфет» показался мне мрачной гробницей. Я обратился к толстому бармену. Камилла уже две недели как не работает здесь. Она что, уволена? Он не мог ответить. Больна? Неизвестно. Больше никакой информации.

Теперь я мог позволить себе такси. Я мог бы нанять их штук двадцать и раскатывать по городу день и ночь. Приехав на Темпел-стрит, я поднялся к Камилле и постучался. Никто не ответил. Я повернул ручку, дверь была открыта, внутри темно. Нащупав выключатель, я включил свет. Она лежала на кровати. Ее лицо походило на цветок желтой розы, засушенный в толстой книге, и лишь в глазах теплилась жизнь. Комната провоняла дымом. Шторы на окнах опущены. Дверь полностью не открывалась, до тех пор пока я не выдернул из-под нее половик. Камилла едва не задохнулась от изумления, увидев меня. Она была рада.

— Артуро, — повторяла она. — Ах, Артуро!

Я ничего не сказал ей про книгу, про контракт. Кому нужен какой-то роман, еще один хренов роман? Мои глаза помнили Камиллу бегущей в лунном свете по пенящемуся морскому берегу, дикую, изящную, прекрасную девушку, которая танцевала между столиков с подносом пива. И вот теперь она лежала на грязной постели, разбитая, и рядом с ней блюдце, переполненное коричневыми окурками. Она бросила работу. Она хотела умереть. «Мне все равно», — твердила она.

— Тебе надо поесть, — умолял я, потому что от нее остались лишь кожа да кости.

Я сел на кровать рядом с ней и взял за руку, я ощутил ее хрупкие пальцы и был удивлен, насколько они маленькие, ведь она была такой сильной и плотной.

— Ты голодна, — твердил я.

Но Камилла ничего не хотела.

— Все равно надо поесть.

Я отправился за провизией. Неподалеку был маленький магазинчик. Я опустошал прилавки. Давайте все, что есть, давайте вот это и это тоже. Молоко, хлеб, коробки сока, фрукты, масло, овощи, мясо, картошку. Мне пришлось сделать три рейса, чтобы перетащить купленное к Камилле. Когда все было сложено на кухне, я осмотрел продукты и растерялся, что же мне предложить ей.

— Ничего я не хочу, — отмахивалась Камилла.

Молоко. Я вымыл стакан и наполнил его. Она села на кровати. Розовая ночнушка, и так порванная на плечах, совсем пошла по швам. Зажав нос, Камилла стала пить. Три глотка, и она чуть не задохнулась. Отставив стакан, она снова легла, морщась от тошноты.

— Фруктовый сок, — предложил я. — Виноградный. Он сладкий, намного вкуснее.

Я откупорил бутылку, наполнил стакан и протянул ей. Она с жадностью осушила его и легла, тяжело дыша. Вскоре она заметалась, свесила голову с кровати, и ее вытошнило. Я убрал блевотину и прибрался в квартире. Вымыл посуду и вычистил раковину. Затем я бросился на улицу, поймал такси и помчался по городу в поисках магазина, где можно было купить ночную сорочку. По пути я прикупил еще конфет и целую кипу иллюстрированных журналов: «Взгляд», «Ералаш», «Смотри», «Так», «Бац» и тому подобное — чтобы отвлечь ее, развеселить.

Когда я вернулся, дверь была заперта. Я знал, что сие означает, и стал тарабанить в дверь кулаками и ногами. Грохот поднялся на весь дом. Двери соседних квартир открывались, в коридор высовывались головы жильцов. На лестнице появилась женщина в старом халате. Это была хозяйка, я безошибочно узнаю их. Она осталась на лестнице, боясь подойти ближе.

— Что вам нужно? — спросила женщина.

— Дверь закрыта, — сказал я. — Мне надо войти.

— Оставьте девушку в покое. Знаю я вашего брата. Уходите отсюда или я вызову полицию.

— Я ее друг, — возразил я.

За дверью раздался истеричный смех Камиллы, затем пронзительный вопль:

— Никакой он мне не друг! Я не хочу его видеть!

И снова смех, писклявый, испуганный, словно крик птицы, пойманной в ловушку. Атмосфера становилась зловещей. На другом конце коридора появились двое мужчин. Один из них, что поздоровее и с сигарой в зубах, подтянул брюки и предложил другу:

— Давай вышвырнем его отсюда.

Я стал отступать, прошмыгнул мимо презрительно ухмыляющейся хозяйки и сбежал вниз по лестнице в вестибюль. Оказавшись на улице, я побежал. На углу Бродвея и Темпел-стрит я увидел свободное такси. Прыгнув на заднее сиденье, я крикнул водителю:

— Вперед!

Похоже, это действительно было не мое дело. Но разве мог я забыть эти черные пряди волос, дикую бездну глаз и жаркий толчок под ложечку в первый же день нашего знакомства. Два дня я не решался навестить ее, но больше не выдержал. Я хотел помочь ей, вырвать ее из захлопнувшейся ловушки, увезти куда-нибудь на юг к океану. Ведь это было в моих силах. При такой-то куче денег. Я даже подумывал о Сэмми, но он так глубоко ненавидел ее. Если бы мне удалось увезти ее из этого города, это обязательно помогло бы ей. И я решился попробовать еще раз.

Было около полудня. Стояла страшная жара, оставаться в комнате было невыносимо. Жара подтолкнула меня к действию — жара, липкая тоска, пылица и обжигающие порывы ветра со стороны Мохаве. Я отправился на

Темпел-стрит. Вот она, эта деревянная лестница, ведущая на второй этаж. В такой день ее дверь должна быть открыта, чтобы сквозняки могли охлаждать ее.

Я был прав. Дверь оказалась открытой, но Камиллы в квартире не было. Ее вещи громоздились кучей посередине комнаты — коробки и сумки с торчащими из них тряпками. Кровать опущена, на ней лишь голый матрас. Жизнь была выброшена из этого места. Я уловил запах дезинфекции.

Спустившись на первый этаж, я постучался в дверь хозяйки.

— Вы! — воскликнула она, отворив. — Вы! — и с грохотом захлопнула дверь.

Я стоял под дверью и умолял выслушать меня.

— Я ее друг, — говорил я. — Клянусь Богом. Я хочу помочь ей. Вы должны мне поверить.

— Уходите или я вызову полицию!

— Но ведь она больна. Ей нужна помощь. Я могу сделать для нее все что угодно. Почему вы не верите мне?

Дверь отворилась. Женщина смотрела мне прямо в глаза. Она была среднего роста, тучная, лицо — отшлифованная маска безучастности.

— Входите, — приказала она.

Я ступил в крайней степени странную комнату, неряшливо и аляповато-изысканно украшенную, загроможденную множеством фантастических приспособлений, было там и пианино, заставленное огромными фотографиями, и дикой расцветки платки, и причудливые лампы и вазы. Хозяйка предложила мне сесть, но я отказался.

— Этой девчонки больше здесь не будет. Она совсем спятила. Я вынуждена была сделать это.

— Где она? Что с ней случилось?

— Мне пришлось так поступить. Поначалу Камилла была прекрасной девушкой.

Она вынуждена была вызвать полицию, вот и вся история. Это случилось ночью, после того как я ушел. Камилла впала в бешенство, она била посуду, выбрасывала мебель в окно, кричала, кидалась на стены, изрезала занавески ножом. Хозяйка позвонила в полицию. Они приехали, выломали дверь и связали ее. Но забирать отказались. Они просто удерживали ее, пытались успокоить, пока не приехала скорая. С воплями и дракой ее увезли. Вот и все, если не считать, что Камилла три месяца не платила за квартиру, да еще нанесла такой материальный ущерб. Хозяйка назвала сумму, и я заплатил. Она вручила мне квитанцию, на ее лице расцвела лицемерная улыбочка.

— Я знала, что вы приличный молодой человек, — заворковала она. — Я поняла это с первого взгляда. Но в этом городе нельзя вот так сразу доверять незнакомому человеку.

В городскую больницу я приехал на трамвае. Сестра в приемной рылась в картотеке, когда я справился о больной по имени Камилла Лопес.

— Да, она у нас, — отозвалась сестра, — но к ней нельзя.

— Как она?

— Я не могу ничего сказать.

— А когда я смогу повидать ее?

Прием посетителей проходил по средам. Нужно было ждать четыре дня. Я вышел из огромного здания больницы и побрел по территории, вглядываясь в окна. Затем дождался трамвая и поехал на Банкер-Хилл.

Ожидание длинной в четыре дня. Я провел их в кегельбане и залах игровых автоматов. Удача была не на моей стороне. Я потерял кучу денег, но и убил много времени. Во вторник после обеда я отправился в центр, купить Камилле подарки. Я выбрал портативный радиоприемник, коробку конфет, пеньюар, кремы для лица и всякое такое. Затем посетил цветочный магазин и заказал две дюжины камелий. В общем, когда я в среду прибыл в больницу, то был загружен до предела. Камелии поникли за ночь, потому что я не позаботился поставить их в воду. Пот струился по моему лицу, пока я

поднимался по лестнице. Значит, веснушки расцвели во всю мощь, я просто физически чувствовал, как они распускаются по всей моей роже.

Меня встретила все та же сестра. Я вывалил подарки на кресло и сказал, что хотел бы навестить Камиллу Лопес. Сестра справилась в картотеке и объявила:

— Мисс Лопес у нас больше не числится. Она была переведена.

Эта жара доконала меня.

— Куда?

Я застонал от отчаяния, когда она сказала, что не может ответить на мой вопрос.

— Я ее друг, — твердил я, как заведенный. — Я хочу помочь ей.

— Извините, мне очень жаль.

— Кто может ответить на мой вопрос?

Да, я хочу знать, кто ответит мне на мой вопрос? Я обошел всю больницу, сверху донизу. Я разговаривал с докторами и их ассистентами, я встречался с сестрами и ассистентами сестер, я поджидал их в вестибюлях и коридорах, но никто не мог ничего сказать мне. Все они заглядывали в свои картотеки и говорили одно и то же: она была переведена. Но она не умерла? Они в один голос утверждали: нет, она не умерла, просто ее перевели в другое место. Все мои усилия были напрасны. Я вышел на улицу под палящее солнце и поплелся к трамвайной остановке. Лишь в трамвае я вспомнил про подарки. Я оставил их где-то там, в больнице, в одной из многочисленных комнат ожиданий, даже не помню в какой. Плевать. Мрачный, я возвращался в Банкер-Хилл.

Если ее перевели, то это обязательно будет государственное или административное учреждение, потому что у Камиллы нет денег. Деньги. Вот у меня были деньги. Все три кармана моих брюк были напичканы деньгами, и еще есть дома в других брюках. Я бы мог собрать их и отвезти им, но ведь они даже не удосужатся сказать мне, что с ней случилось. Для чего же тогда деньги? Я так и так их потрачу! О черт, эти больничные коридоры, пахнущие эфиром, эти загадочные доктора, разговаривающие

тихими голосами, их молчаливые, сдержанные сестры, они совсем сбили меня с толку. Я вылез из трамвая в полном отупении. Поднимаясь на Банкер-Хилл, я остановился на полпути, сел на ступеньку и стал смотреть на город, распростершийся под моими ногами в сером мареве истекающего дня. Жар поднимался от этого марева и шибал в ноздри. Над городом плавала белая, словно туман, пелена, но это был не туман, это простирался дух пустыни, мощные струи, тянущиеся из Мохаве и Санта-Эна, бледные пальцы опустевших земель, вечно шныряющие в поисках своих похищенных детей.

На следующий день я выяснил, куда они отправили Камиллу. Из аптеки в центре города я позвонил по межгороду на коммутатор Федерального института психиатрии в Дел-Мария. Я спросил у телефонистки имя дежурного доктора.

— Доктор Дэниелсон, — ответила девушка.

— Соедините меня с его кабинетом.

Послышался щелчок, и другой женский ответил:

— Приемная доктора Дэниелсона.

— Это доктор Джонс, — размеренно заговорил я. — Соедините меня с доктором Дэниелсоном. Это очень срочно.

— Одну минутку.

Возник мужской голос:

— Говорит доктор Дэниелсон.

— Здравствуйте доктор. Это доктор Джонс, Эдмонд Джонс из Лос-Анджелеса. Из нашей городской больницы к вам поступила мисс Камилла Лопес. Как она?

— Пока ничего не можем сказать. Обследование только началось. Простите, вы сказали Эдмонд Джонс?

Я повесил трубку. Наконец-то я знал, где она. Но знать — это одно, попытаться увидеть ее — совсем другое. Похоже, об этом не могло быть и речи. Я поговорил со сведущими людьми. Во-первых, вы должны быть

родственником пациента, и нужно доказать это. Во-вторых, требуется написать заявку на свидание, и после того как они все проверят, вас вызовут. Посылать больным письма и передачи нельзя. Нет, я не поехал в Дел-Мария. Я и так сделал все, что мог. Она стала душевно больной, и это уже точно не мое дело. И вообще, она же любила Сэмми.

Время шло, начались зимние дожди. В конце октября я получил для подтверждения корректуру книги. У меня появилось новое приобретение — «форд» 1929 года. Это был кабриолет, и бегал он быстрее ветра. Когда дожди прекратились, я стал совершать долгие прогулки вдоль голубого побережья: Санта-Барбара — Сант-Клемент — Сан-Диего. «Форд» катил вдоль белой разделительной полосы, сверху мерцали яркие звезды, мои ноги на приборной доске, в голове роятся планы относительно следующей книги. Так протекали дни и ночи, сливаясь в волшебный сон, о котором я не смел и мечтать. Я рыскал по городу на своем «форде», отыскивая таинственные аллеи, глухие парки, останки старых домов, свидетелей ушедших времен. Я дневал и ночевал в своем «форде», останавливаясь изредка, чтобы заказать гамбургер и кофе в незнакомых придорожных кафе. Это была жизнь для настоящего мужчины: странствовать, останавливаться и снова пускаться в дорогу, всегда в движении, белая линия вдоль извилистого побережья, можно расслабиться за рулем, закурить сигарету и попробовать отыскать хоть какой-нибудь смысл в этом озадачивающем пустынном небе.

Однажды ночью я проезжал мимо того места в Санта-Монике, где мы купались с Камиллой в наш первый вечер. Я остановился и стал смотреть на пенящиеся буруны, окутанные таинственной дымкой. Я вспоминал обнаженную девушку, резвящуюся в дикой свободе ночи. Ох уж эта Камилла, девочка моя!

Однажды, это было уже в середине ноября, я прогуливался по Спринг-стрит, заглядывая по пути в комиссионные книжные лавки. «Колумбийский буфет» находился всего в квартале от меня. «Да черт с ним, — подумал я, — в память о добрых старых временах», — и решил заглянуть в бар, выпить пива.

Теперь я считался старожилом и мог по праву смотреть на все со снисходительной ухмылкой, вспоминая былые времена, когда это место было действительно чудным заведением. Не то что теперь. Никто не узнавал меня — ни новая официантка с забитым жвачкой ртом, ни две музыкантши, до сих пор мусолящие посредством скрипки и пианино «Сказки венского леса».

Только толстый бармен признал. Стив или Винс, а может быть Винни, или еще как.

— Давненько тебя не было видно, — бросил он мне.

— С тех пор как ушла Камилла, — уточнил я.

Он причмокнул языком.

— Скверная история. Жалко девчонку. Чудное дитя.

И на этом все. Я выпил еще пива, затем еще. Когда он налил мне четвертую кружку, я сразу заказал еще пару для нас обоих. Так пили мы с час. Затем он вынул из кармана газетную вырезку и положил передо мной.

— Видел вот это?

Я взял клочок бумаги, на котором было не больше шести строк:

«Местная полиция разыскивает Камиллу Лопес, двадцати двух лет от роду, жительницу Лос-Анджелеса, чье исчезновение из Дель-марийского института психиатрии было обнаружено вчера вечером».

Газета была недельной давности. Я оставил свое пиво и поспешил в отель. Что-то подсказывало мне, что она придет. Я ощущал ее желание вернуться в мою комнату. Пододвинув стул к окну и забросив ноги на подоконник, я курил и ждал. Свет не выключал. Я был почти уверен, что она явится, ведь, кроме меня, ей идти было некуда.

Но она все не шла. Я переместился на кровать, но свет оставил включенным. Последующие день и ночь я не покидал своей комнаты, ожидая звона камешка о стекло окна. По истечении третьей ночи ожидания моя уверенность стала убывать. Нет, она не придет сюда. Она будет пробираться к Сэмми, к тому, кого она по-настоящему любит. Последний человек, о ком она вспомнит, будет Артуро Бандини. Ну что ж, это меня вполне устраивает. В конце концов я теперь писатель, у меня есть роман и несколько рассказов.

На следующее утро я получил ее первую, из последующей серии, телеграмму — просьба выслать деньги на имя Риты Гомес через Вестерн Юнион в Сан-Франциско. Телеграмма была подписана Ритой, но кто скрывался за этим именем, у меня сомнений не возникало. Я послал двадцать долларов и

написал, чтобы она двигалась на юг в район Санты-Барбары, где мы смогли бы увидеться. В ответ она телеграфировала:

«Двигаюсь на север извини спасибо Рита».

Вторая депеша прибыла из Фресно. И снова она просила денег: выслать на имя Риты Гомес телеграфом. Между первой и второй телеграммами прошло всего два дня. Я поехал в центр и отослал пятьдесят. Я сидел перед бланком перевода и силился сочинить послание, но так ничего и не придумал. Деньги ушли без сопроводительных слов. Что бы я ни сказал Камилле Лопес, ей абсолютно без разницы. Возвращаясь в отель, я дал себе клятву: денег от меня ни Гомес, ни Лопес больше не получат. Теперь должно быть начеку, настраивал я сам себя.

В воскресенье вечером я держал в руках третью телеграмму того же содержания, что и предыдущие, но посланную уже из Бейкерсфилда. Целых два часа я был верен своей клятве. Затем мне представилась Камилла, скитающаяся по стране, без единого пени, мокнущая под дождем, и я отправился на почту. Я отослал пятьдесят долларов с сопроводительной запиской, в которой просил Риту купить себе теплую одежду и остерегаться дождя.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Спустя три дня, возвратившись из очередного автопутешествия, я обнаружил, что дверь моего номера заперта изнутри. Я был готов к этому. Постучавшись и не получив ответа, я позвал ее. Тишина. Тогда я спустился вниз, выскочил во двор и взбежал по холму на уровень окна своей комнаты. Я хотел поймать ее с поличным. Окно было закрыто, но штора оказалась незадернутой. Лампа на столе горела, и комната была освещена, правда, Камиллы нигде не было видно. Я разглядел, что дверца платяного шкафа плотно прикрыта, и понял, что она там. Открыв окно, я осторожно влез в комнату. Ковриков возле кровати не было. На цыпочках я подошел к шкафу. Я слышал, как она копошится внутри. В воздухе улавливался запах марихуаны.

Я уже взялся за ручку дверцы, но в последний момент решил не открывать ее. Такое неожиданное разоблачение могло сильно травмировать ее. Я вспомнил, что нечто подобное было со мной в детстве. Я сидел примерно в

таком же шкафу, и мать неожиданно открыла дверцу. О, я помнил, какой это ужас — быть пойманным с поличным. Тихонечко я отошел от шкафа и сел у стола. Минут через пять я понял, что не могу оставаться здесь. Мне не хотелось, чтобы она догадалась о моей осведомленности. Я вылез в окно, закрыл его и вернулся в задний двор отеля. Потянув время, чтобы она закончила свои дела, я нарочито шумно поднялся по лестнице и толкнул дверь.

Камилла лежала на кровати, прикрыв исхудалой рукой глаза.

— Камилла! — воскликнул я. — Ты здесь?

Она приподнялась и устремила на меня безумный взгляд своих черных глаз, плавающих в мутной поволоке блаженства. Шея ее вытянулась, обнажив сухожилия на горле. Она не сказала ни слова, но мертвенная бледность ее лица, зубы, казавшиеся теперь слишком белыми и чересчур большими, испуганная улыбка — все это просто кричало об ужасе, который окутывал ее днем и ночью. Я покрепче сжал зубы, чтобы не разреветься, и подошел к кровати. Камилла испуганно сжалась, подтянув колени к груди, будто я собирался ударить ее.

— Успокойся, — заговорил я. — С тобой все будет хорошо. Выглядишь шикарно.

— Спасибо тебе за деньги, — ответила она совсем не изменившимся голосом, низким и немного гнусавым.

Трудно было не заметить, что она купила себе новую одежду. Вещи были дешевые и броские: ярко-желтое платье из искусственного шелка с черным вельветовым поясом, желто-голубые туфли и носочки с красно-зелеными резинками. На руках был сделан маникюр, ногти покрыты алым лаком, на запястьях поблескивали браслеты из зеленого и желтого бисера. И вся эта цветовая какофония подчеркивалась мертвенной бледностью ее лица и шеи. Бедная Камилла, ничто ей так не шло, как простой белый халатик, в котором она работала. Больше я ничего не спрашивал. Все было написано на ее опустошенном лице. И это не выглядело как умопомешательство. Это был страх, жуткий страх корчился в крике ее голодных глаз, теперь еще усиленный наркотиком.

Камилла не могла оставаться в Лос-Анджелесе. Ей требовался отдых, хорошее питание, долгий сон, свежее молоко и прогулки на свежем воздухе.

У меня сразу возник план. Лагуна-Бич! Это место идеально подходило для оздоровления. Зимой мы могли снять там дешевое жилье. Я бы мог заботиться о ней и начать работу над своей новой книгой. У меня уже была идея для следующего романа. Нам не обязательно было жениться, зарегистрировались бы как брат и сестра. Мы сможем купаться и гулять вдоль побережья Бальбоа, а когда опустится туман, разожжем камин и будем сидеть возле огня. Во время шторма мы будем спать под теплыми одеялами. Набросав план в общих чертах, я не останавливался, я продолжал детализировать его, я словно бы читал волшебную книгу, и постепенно лицо Камиллы просветлялось, и наконец она заплакала.

— И еще у нас будет собака! — не останавливался я. — Мы купим щеночка. Ирландского терьера. И назовем его Вилли.

— О, Вилли! — захлопала в ладоши Камилла. — Хочу Вилли! Мой Вилли!

— И кота! — я решил закрепить свой успех. — Сиамской породы. Его имя будет Чанг. Огромный кот с золотистыми глазами.

Камилла вздрогнула и закрыла лицо руками.

— Нет, — захныкала она. — Я ненавижу кошек.

— Хорошо. Никаких кошек. Тем более, что я их тоже ненавижу.

Я зажег ее воображение, и теперь она уже сама дорисовывала созданное мною полотно.

— Лучше лошади, — говорила она. — Вот когда ты заработаешь много денег, у нас у обоих будет по лошади.

— Я заработаю миллионы, — заверил я ее, разделся и лег рядом.

Спала она очень беспокойно, неожиданно вздрагивала, стонала и бормотала что-то во сне. Где-то посередине ночи она поднялась, включила свет и закурила. Я лежал с закрытыми глазами и пытался уснуть. Покурив, она встала с кровати, накинула на себя мой халат и взяла со стола ридикюль. Это была клеенчатая сумочка, до предела набитая всяким барахлом. Я слышал, как она прошлепала в туалет в моих тапочках. Не было Камиллы минут десять. Вернулась она расслабленной и умиротворенной. Думая, что я сплю,

она поцеловала меня в висок. Я уловил дух марихуаны. Остаток ночи она спала, как убитая, с совершенно счастливой физиономией.

Часов в восемь утра мы вылезли в окно и пробрались на задний двор отеля, где стоял мой «форд». Камилла была в подавленном состоянии, лицо помятое и ожесточенное. Поколесив по городу, я выехал на Лонг-Бич бульвар. Камилла сидела, опустив голову, холодный утренний ветер ворошил ее волосы. В Майвуде мы остановились у придорожного кафе, чтобы позавтракать. Я заказал яичницу с сосиской, фруктовый сок и кофе. Камилла от всего отказалась, кроме кофе. Сделав один глоток, она тотчас закурила. Я хотел улучшить момент и проверить ее клеенчатую сумочку, я был уверен, что именно там она хранит дурь, но Камилла вцепилась в нее и не расставалась ни на минуту. Выпив еще по кружке кофе, мы двинулись дальше. Камилла посвежела, но настроение ее все еще оставалось мрачным. Я молчал.

В паре миль от Лонг-Бич располагалась собачья ферма. Я подкатил к воротам, остановил машину, и мы вошли в сад эвкалиптовых и пальмовых деревьев. Со всех сторон нас встречал радостный собачий лай. Собаки действительно любили Камиллу, они сразу принимали ее за своего друга. И впервые за все утро она улыбнулась. На ферме были в основном колли, немецкие овчарки и терьеры. Опустившись на колени, Камилла обнимала их, тербила им холки, и они, переполняясь благодарностью, повизгивали и облизывали ее своими розовыми длинными языками. Она выбрала одного терьера, взяла на руки и стала нянчить его, словно младенца, нежно напевая при этом. Лицо ее сияло, полное жизненных красок, это было лицо прежней Камиллы.

На крыльце появился владелец фермы — старик с белой коротко стриженной бородой. Он хромал и ходил с тростью. На меня собаки почти не обращали внимания. Они подбегали, обнюхивали мои ботинки и удалялись с важным видом. Это не означало, что я им не нравлюсь, просто они отдавали предпочтение Камилле с ее безграничной нежностью и знанием собачьего языка. Я сказал старику, что мы хотели бы купить щеночка. Он спросил какой породы. Выбрать должна была Камилла, но она никак не могла решиться. Мы посмотрели нескольких малышей. Все они были очень трогательные, эдакие маленькие плюшевые шарики, невыразимо нежные. Наконец мы нашли то, что она хотела. Это был совершенно белый щенок колли. Ему еще не исполнилось и шести недель, и он был такой толстый, что едва мог ходить, Камилла поставила его на лапы, он сделал несколько

неверных шагов, затем плюхнулся на бок и тут же заснул. Камилла предпочла этого недотепу всем остальным щенкам.

Я чуть не поперхнулся, когда старик сказал: «Двадцать пять долларов». Но мы все же взяли щенка, старик вручил нам его собачий паспорт. До машины нас провожала тоже совершенно белая мамаша-колли. Она озабоченно лаяла, предупреждая нас, чтобы мы были очень осторожны с ее чадом. Отъехав от ворот, я оглянулся — белая мамаша сидела на дороге, наострив уши, она провожала нас, пока мы не свернули на шоссе.

— Вилли, — сказал я. — Его зовут Вилли.

Щенок лежал у Камиллы на коленях и поскуливал.

— Нет, это Белоснежка, — заявила Камилла.

— Но это же женское имя.

— А мне все равно.

Я съехал на обочину и остановился.

— А мне не все равно, — сказал я. — Или ты назовешь его каким другим именем, или он возвращается к своей мамаше.

— Ну, ладно, — согласилась она. — Пусть будет Вилли.

Я был доволен. Мы не разругались из-за пустяка. Вилли уже помогал ей. Камилла становилась управляемой, она была готова прислушиваться к голосу разума. Нетерпимость ушла, и губы обмякли, явив обычный нежный изгиб. Вилли спал у Камиллы на коленях, посапывая и посасывая во сне ее мизинец. На южной окраине Лонг-Бич мы отыскали аптеку и купили бутылочку с соской и еще пакет молока. Как только Камилла поднесла ко рту щенка соску, он тут же открыл глаза. Он накинута на молоко, как монстр. Камилла запустила пальцы рук в свои волосы, томно потянулась и сладко зевнула. Она была очень счастлива.

Дальше на юг. Мы катим вдоль побережья. Я не спешу. Мягкий денек, небо как море, море как небо. Слева золотистые холмы — золото южной зимы. Такой день не для разговоров, а для любования одинокими деревьями, песчаными дюнами и белыми камнями вдоль дороги. Страна моей Камиллы,

ее дом — море и пустыня, бесконечные просторы и необъятное небо, и далеко на севере все еще виднеется бледный лик луны, отпечаток уходящей ночи.

Мы приехали в Лагуну еще до полудня. Еще два часа потратили, разъезжая по агентствам и осматривая дома, пока не нашли то, что нам было нужно. Теперь Камиллу все устраивало. Она была полностью поглощена Вилли. Где она будет жить, ее вовсе не волновало. Я выбрал дом с остроконечной крышей, огороженный белым забором и в пятидесяти ярдах от берега. Задний двор был устлан белым песком. Хорошая мебель, светлые портьеры на окнах и яркие акварели на стенах. Но больше всего мне понравилось, что в доме была одна комната на втором этаже. Ее окно выходило на море. Я мог поставить перед ним свою печатную машинку и работать. Господи, сколько бы я сотворил перед этим окном. Я бы просто смотрел в него, и идеи возникали в моей голове сами собой. Эта комната одним своим видом вдохновляла меня, я уже видел слова, предложения, заполняющие страницу за страницей.

Когда я спустился вниз, Камилла с Вилли вышла прогуляться по берегу. Я стоял в дверях и наблюдал за ними. Камилла склонилась над щенком, захлопала в ладоши и побежала. Вилли кувыркнулся позади, но его почти не было видно, слишком уж он был маленький и совершенно сливался с белым песком. Я зашел в дом.

На кухонном столе лежала сумочка Камиллы. Я открыл ее и вывалил содержимое на стол. Среди прочего хлама обнаружились две коробки из-под табака «Принц Альберт» с марихуаной. Я высыпал зелье в унитаз, а коробки выбросил в мусорное ведро.

Затем я вернулся на крыльцо, сел на ступеньку и, наслаждаясь теплым солнцем, стал поджидать Камиллу и Вилли. Было уже два часа дня, и я рассчитывал вернуться в Лос-Анджелес, забрать свои вещи, отказаться от комнаты в отеле и часам к семи вернуться назад. Я дал Камилле денег, чтобы она купила продукты и необходимые вещи. Когда я уходил, она лежала на террасе, подставив лицо солнцу. На ее животе, свернувшись калачиком, похрапывал Вилли. Я посигналил на прощанье, включил скорость и покатил в сторону шоссе.

Прибыв в Лос-Анджелес, я загрузил свои вещи в машину и двинулся в обратный путь. Где-то посередине у меня лопнуло колесо. Быстро стемнело. Было уже около девяти, когда я подъехал к нашему новому пристанищу на берегу. Света в доме не было. Я открыл дверь своим ключом и позвал Камиллу. Ответа не последовало. Я включил весь свет, обошел все комнаты, проверил все шкафы. Никого — ни Камиллы, ни Вилли. Я пошел выгружать свои вещи. Возможно, она решила снова прогуляться со щенком по берегу. Это был самообман. Она ушла. В двенадцать ночи я еще сомневался, но уже в час был абсолютно уверен, что она не вернется. Я снова обошел все комнаты в поисках какой-нибудь записки. Нет, никакого следа. Если не считать продуктов, которые она зачем-то купила.

Я решил остаться. Рента была оплачена за месяц, и мне хотелось попытаться счастья в комнате на втором этаже. В ту ночь я ночевал в ней, но уже к утру возненавидел это место. С Камиллой оно было частью дивной мечты, без нее — просто домом на берегу. Я забросил вещи на заднее сиденье и поехал обратно в Лос-Анджелес. Когда я вернулся в отель, мою комнату кто-то уже успел снять. Все шло вкривь и вкось. Пришлось снять свободную комнату на верхнем этаже, но она не понравилось мне. Все рассыпалось вдребезги. Новая комната была такой чужой, жутко холодной, без единого воспоминания. Выглянув в окно, я определил, что до земли не меньше двадцати футов. Никаких больше лазаний в окно, никаких сигнальных камешков в стекло. Я устанавливал печатную машинку то в одно место, то в другое, но она нигде не приживалась. Что-то было не так. Все было не так.

Я пошел слоняться по улицам. Бог ты мой, вот снова я брожу по этому городу. Вглядываясь в лица прохожих, я понимал, что ничем не отличаюсь от них. Наши лица обескровлены, жесткие физиономии, озабоченные, потерянные. Лица, похожие на сорванные цветы в красивой вазе, но мгновенно увядшие. Я должен был бежать из этого города.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Спустя три дня, возвратившись из очередного автопутешествия, я обнаружил, что дверь моего номера заперта изнутри. Я был готов к этому. Постучавшись и не получив ответа, я позвал ее. Тишина. Тогда я спустился вниз, выскочил во двор и взбежал по холму на уровень окна своей комнаты. Я хотел поймать ее с поличным. Окно было закрыто, но штора оказалась

незадернутой. Лампа на столе горела, и комната была освещена, правда, Камиллы нигде не было видно. Я разглядел, что дверца платяного шкафа плотно прикрыта, и понял, что она там. Открыв окно, я осторожно влез в комнату. Ковриков возле кровати не было. На цыпочках я подошел к шкафу. Я слышал, как она копошится внутри. В воздухе улавливался запах марихуаны.

Я уже взялся за ручку дверцы, но в последний момент решил не открывать ее. Такое неожиданное разоблачение могло сильно травмировать ее. Я вспомнил, что нечто подобное было со мной в детстве. Я сидел примерно в таком же шкафу, и мать неожиданно открыла дверцу. О, я помнил, какой это ужас — быть пойманным с поличным. Тихонечко я отошел от шкафа и сел у стола. Минут через пять я понял, что не могу оставаться здесь. Мне не хотелось, чтобы она догадалась о моей осведомленности. Я вылез в окно, закрыл его и вернулся в задний двор отеля. Потянув время, чтобы она закончила свои дела, я нарочито шумно поднялся по лестнице и толкнул дверь.

Камилла лежала на кровати, прикрыв исхудалой рукой глаза.

— Камилла! — воскликнул я. — Ты здесь?

Она приподнялась и устремила на меня безумный взгляд своих черных глаз, плавающих в мутной поволоке блаженства. Шея ее вытянулась, обнажив сухожилия на горле. Она не сказала ни слова, но мертвенная бледность ее лица, зубы, казавшиеся теперь слишком белыми и чересчур большими, испуганная улыбка — все это просто кричало об ужасе, который окутывал ее днем и ночью. Я крепче сжал зубы, чтобы не разреветься, и подошел к кровати. Камилла испуганно сжалась, подтянув колени к груди, будто я собирался ударить ее.

— Успокойся, — заговорил я. — С тобой все будет хорошо. Выглядишь шикарно.

— Спасибо тебе за деньги, — ответила она совсем не изменившимся голосом, низким и немного гнусавым.

Трудно было не заметить, что она купила себе новую одежду. Вещи были дешевые и броские: ярко-желтое платье из искусственного шелка с черным вельветовым поясом, желто-голубые туфли и носочки с красно-зелеными резинками. На руках был сделан маникюр, ногти покрыты алым лаком, на

запястьях поблескивали браслеты из зеленого и желтого бисера. И вся эта цветовая какофония подчеркивалась мертвенной бледностью ее лица и шеи. Бедная Камилла, ничто ей так не шло, как простой белый халатик, в котором она работала. Больше я ничего не спрашивал. Все было написано на ее опустошенном лице. И это не выглядело как умопомешательство. Это был страх, жуткий страх корчился в крике ее голодных глаз, теперь еще усиленный наркотиком.

Камилла не могла оставаться в Лос-Анджелесе. Ей требовался отдых, хорошее питание, долгий сон, свежее молоко и прогулки на свежем воздухе. У меня сразу возник план. Лагуна-Бич! Это место идеально подходило для оздоровления. Зимой мы могли снять там дешевое жилье. Я бы мог заботиться о ней и начать работу над своей новой книгой. У меня уже была идея для следующего романа. Нам не обязательно было жениться, зарегистрировались бы как брат и сестра. Мы сможем купаться и гулять вдоль побережья Бальбоа, а когда опустится туман, разожжем камин и будем сидеть возле огня. Во время шторма мы будем спать под теплыми одеялами. Набросав план в общих чертах, я не останавливался, я продолжал детализировать его, я словно бы читал волшебную книгу, и постепенно лицо Камиллы просветлялось, и наконец она заплакала.

— И еще у нас будет собака! — не останавливался я. — Мы купим щеночка. Ирландского терьера. И назовем его Вилли.

— О, Вилли! — захлопала в ладоши Камилла. — Хочу Вилли! Мой Вилли!

— И кота! — я решил закрепить свой успех. — Сиамской породы. Его имя будет Чанг. Огромный кот с золотистыми глазами.

Камилла вздрогнула и закрыла лицо руками.

— Нет, — захныкала она. — Я ненавижу кошек.

— Хорошо. Никаких кошек. Тем более, что я их тоже ненавижу.

Я зажег ее воображение, и теперь она уже сама дорисовывала созданное мною полотно.

— Лучше лошади, — говорила она. — Вот когда ты заработаешь много денег, у нас у обоих будет по лошади.

— Я заработаю миллионы, — заверил я ее, разделся и лег рядом.

Спала она очень беспокойно, неожиданно вздрагивала, стонала и бормотала что-то во сне. Где-то посередине ночи она поднялась, включила свет и закурила. Я лежал с закрытыми глазами и пытался уснуть. Покурив, она встала с кровати, накинула на себя мой халат и взяла со стола ридикюль. Это была клеенчатая сумочка, до предела набитая всяким барахлом. Я слышал, как она прошлепала в туалет в моих тапочках. Не было Камиллы минут десять. Вернулась она расслабленной и умиротворенной. Думая, что я сплю, она поцеловала меня в висок. Я уловил дух марихуаны. Остаток ночи она спала, как убитая, с совершенно счастливой физиономией.

Часов в восемь утра мы вылезли в окно и пробрались на задний двор отеля, где стоял мой «форд». Камилла была в подавленном состоянии, лицо помятое и ожесточенное. Поколесив по городу, я выехал на Лонг-Бич бульвар. Камилла сидела, опустив голову, холодный утренний ветер ворошил ее волосы. В Майвуде мы остановились у придорожного кафе, чтобы позавтракать. Я заказал яичницу с сосиской, фруктовый сок и кофе. Камилла от всего отказалась, кроме кофе. Сделав один глоток, она тотчас закурила. Я хотел улучшить момент и проверить ее клеенчатую сумочку, я был уверен, что именно там она хранит дурь, но Камилла вцепилась в нее и не расставалась ни на минуту. Выпив еще по кружке кофе, мы двинулись дальше. Камилла посвежела, но настроение ее все еще оставалось мрачным. Я молчал.

В паре миль от Лонг-Бич располагалась собачья ферма. Я подкатил к воротам, остановил машину, и мы вошли в сад эвкалиптовых и пальмовых деревьев. Со всех сторон нас встречал радостный собачий лай. Собаки действительно любили Камиллу, они сразу принимали ее за своего друга. И впервые за все утро она улыбнулась. На ферме были в основном колли, немецкие овчарки и терьеры. Опустившись на колени, Камилла обнимала их, теребила им холки, и они, переполняясь благодарностью, повизгивали и облизывали ее своими розовыми длинными языками. Она выбрала одного терьера, взяла на руки и стала нянчить его, словно младенца, нежно напевая при этом. Лицо ее сияло, полное жизненных красок, это было лицо прежней Камиллы.

На крыльце появился владелец фермы — старик с белой коротко стриженной бородой. Он хромал и ходил с тростью. На меня собаки почти не обращали внимания. Они подбегали, обнюхивали мои ботинки и удалялись с важным видом. Это не означало, что я им не нравлюсь, просто они отдавали

предпочтенье Камилле с ее безграничной нежностью и знанием собачьего языка. Я сказал старику, что мы хотели бы купить щеночка. Он спросил какой породы. Выбрать должна была Камилла, но она никак не могла решиться. Мы посмотрели нескольких малышей. Все они были очень трогательные, эдакие маленькие плюшевые шарики, невыразимо нежные. Наконец мы нашли то, что она хотела. Это был совершенно белый щенок колли. Ему еще не исполнилось и шести недель, и он был такой толстый, что едва мог ходить, Камилла поставила его на лапы, он сделал несколько неверных шагов, затем плюхнулся на бок и тут же заснул. Камилла предпочла этого недотепу всем остальным щенкам.

Я чуть не поперхнулся, когда старик сказал: «Двадцать пять долларов». Но мы все же взяли щенка, старик вручил нам его собачий паспорт. До машины нас провожала тоже совершенно белая мамаша-колли. Она озабоченно лаяла, предупреждая нас, чтобы мы были очень осторожны с ее чадом. Отъехав от ворот, я оглянулся — белая мамаша сидела на дороге, наострив уши, она провожала нас, пока мы не свернули на шоссе.

— Вилли, — сказал я. — Его зовут Вилли.

Щенок лежал у Камиллы на коленях и поскуливал.

— Нет, это Белоснежка, — заявила Камилла.

— Но это же женское имя.

— А мне все равно.

Я съехал на обочину и остановился.

— А мне не все равно, — сказал я. — Или ты назовешь его каким другим именем, или он возвращается к своей мамаше.

— Ну, ладно, — согласилась она. — Пусть будет Вилли.

Я был доволен. Мы не разругались из-за пустяка. Вилли уже помогал ей. Камилла становилась управляемой, она была готова прислушиваться к голосу разума. Нетерпимость ушла, и губы обмякли, явив обычный нежный изгиб. Вилли спал у Камиллы на коленях, посапывая и посасывая во сне ее мизинец. На южной окраине Лонг-Бич мы отыскали аптеку и купили бутылочку с соской и еще пакет молока. Как только Камилла поднесла ко рту

щенка соску, он тут же открыл глаза. Он накинулся на молоко, как монстр. Камилла запустила пальцы рук в свои волосы, томно потянулась и сладко зевнула. Она была очень счастлива.

Дальше на юг. Мы катим вдоль побережья. Я не спешу. Мягкий денек, небо как море, море как небо. Слева золотистые холмы — золото южной зимы. Такой день не для разговоров, а для любования одинокими деревьями, песчаными дюнами и белыми камнями вдоль дороги. Страна моей Камиллы, ее дом — море и пустыня, бесконечные просторы и необъятное небо, и далеко на севере все еще виднеется бледный лик луны, отпечаток уходящей ночи.

Мы приехали в Лагуну еще до полудня. Еще два часа потратили, разъезжая по агентствам и осматривая дома, пока не нашли то, что нам было нужно. Теперь Камиллу все устраивало. Она была полностью поглощена Вилли. Где она будет жить, ее вовсе не волновало. Я выбрал дом с остроконечной крышей, огороженный белым забором и в пятидесяти ярдах от берега. Задний двор был устлан белым песком. Хорошая мебель, светлые портьеры на окнах и яркие акварели на стенах. Но больше всего мне понравилось, что в доме была одна комната на втором этаже. Ее окно выходило на море. Я мог поставить перед ним свою печатную машинку и работать. Господи, сколько бы я сотворил перед этим окном. Я бы просто смотрел в него, и идеи возникали в моей голове сами собой. Эта комната одним своим видом вдохновляла меня, я уже видел слова, предложения, заполняющие страницу за страницей.

Когда я спустился вниз, Камилла с Вилли вышла прогуляться по берегу. Я стоял в дверях и наблюдал за ними. Камилла склонилась над щенком, захлопала в ладоши и побежала. Вилли кувыркнулся позади, но его почти не было видно, слишком уж он был маленький и совершенно сливался с белым песком. Я зашел в дом.

На кухонном столе лежала сумочка Камиллы. Я открыл ее и вывалил содержимое на стол. Среди прочего хлама обнаружились две коробки из-под табака «Принц Альберт» с марихуаной. Я высыпал зелье в унитаз, а коробки выбросил в мусорное ведро.

Затем я вернулся на крыльцо, сел на ступеньку и, наслаждаясь теплым солнцем, стал поджидать Камиллу и Вилли. Было уже два часа дня, и я рассчитывал вернуться в Лос-Анджелес, забрать свои вещи, отказаться от

комнаты в отеле и часам к семи вернуться назад. Я дал Камилле денег, чтобы она купила продукты и необходимые вещи. Когда я уходил, она лежала на террасе, подставив лицо солнцу. На ее животе, свернувшись калачиком, похрапывал Вилли. Я посигналил на прощанье, включил скорость и покатил в сторону шоссе.

Прибыв в Лос-Анджелес, я загрузил свои вещи в машину и двинулся в обратный путь. Где-то посередине у меня лопнуло колесо. Быстро стемнело. Было уже около девяти, когда я подъехал к нашему новому пристанищу на берегу. Света в доме не было. Я открыл дверь своим ключом и позвал Камиллу. Ответа не последовало. Я включил весь свет, обошел все комнаты, проверил все шкафы. Никого — ни Камиллы, ни Вилли. Я пошел выгружать свои вещи. Возможно, она решила снова прогуляться со щенком по берегу. Это был самообман. Она ушла. В двенадцать ночи я еще сомневался, но уже в час был абсолютно уверен, что она не вернется. Я снова обошел все комнаты в поисках какой-нибудь записки. Нет, никакого следа. Если не считать продуктов, которые она зачем-то купила.

Я решил остаться. Рента была оплачена за месяц, и мне хотелось попытаться счастья в комнате на втором этаже. В ту ночь я ночевал в ней, но уже к утру возненавидел это место. С Камиллой оно было частью дивной мечты, без нее — просто домом на берегу. Я забросил вещи на заднее сиденье и поехал обратно в Лос-Анджелес. Когда я вернулся в отель, мою комнату кто-то уже успел снять. Все шло вкривь и вкось. Пришлось снять свободную комнату на верхнем этаже, но она не понравилась мне. Все рассыпалось вдребезги. Новая комната была такой чужой, жутко холодной, без единого воспоминания. Выглянув в окно, я определил, что до земли не меньше двадцати футов. Никаких больше лазаний в окно, никаких сигнальных камешков в стекло. Я устанавливал печатную машинку то в одно место, то в другое, но она нигде не приживалась. Что-то было не так. Все было не так.

Я пошел слоняться по улицам. Бог ты мой, вот снова я брожу по этому городу. Вглядываясь в лица прохожих, я понимал, что ничем не отличаюсь от них. Наши лица обескровлены, жесткие физиономии, озабоченные, потерянные. Лица, похожие на сорванные цветы в красивой вазе, но мгновенно увядшие. Я должен был бежать из этого города.

